
Айгуль АХМЕТОВА

СОЛЬТАДАС

Повесть

Ночь бледнела и выцветала, выталкивая из своего чрева скукожившийся хворый промозглый день. Он мешкал со своим выходом из-за кулис. Ему вовсе не хотелось быть проткнутым световыми рапирами. Он совсем забыл, какой сезон, не решил, будет ли он сегодня купаться в слезах или ловить ртом солнечных зайчиков. Он разевал рот, протирал глаза, бессмысленно озирался по сторонам и напоминал невинное дитя, разбуженное прежде срока жестокими родителями. Но не было у него ни родителей, ни няnek, ни душевных связей, ни близких отношений. Может, именно поэтому день начинал свое присутствие так явственно и ощутимо прежде всего в этом месте, ни в каком другом, а уже потом, как вязкое, придавленное скалкой тесто, раскалывался по всему городу, прокрадывался во все закоулки, забивался в щели, покровительствуя суете, усилую, напряжению и раздражению. Означенное место — вокзал. Здесь судьбы людей сталкивались, упруго отскакивали друг от друга, а порой и сплетались, как пути в железнодорожный узел, — так же беспорядочно, но совсем не так прочно, и разветвлялись, как кровеносные сосуды, как пролившаяся на неровной поверхности густая жидкость.

Осунувшаяся, словно ночная бабочка, привокзальная площадь еще в полудреме: не наводнена автомобилями и общественным транспортом, слегка расслаблена и рассеянна, но уже в предчувствии тревоги: видимо, и в ее недрах вырабатывается свой кортизол. Да и как не тревожиться, когда по твоему брюху стучат и скребут дворничьи лопаты, сдирая с него единственный покров — ледовую корку, взамен забивая поры химическими реагентами! Эта неорганическая плоть только начинала почесываться от копошения обитающих на ней паразитов: пока еще немногочисленные пассажиры с встречающими и провожающими сновали туда-сюда, чем-то напоминающая сонных разомлевших мух в натопленной деревенской избе, гулко врезающихся в оконные стекла.

Бестолковые фонари-истуканы зачем-то продолжали гореть, понуриив головы; высокие одноглазые дылды, почти не ассоциирующиеся с циклопами, они испускали не свет, а туманную тоску, припорошивающую тонкой пылью тяжелый воздух. Вывески воспаленно и нервно подрагивали неоновыми огнями — эти были энергичны, бойки и после бессонной ночи продолжали мигать и переливаться напористо и вызывающе. Город повесой отгулял очередную лихую ночь; в очередной раз он был опустошен и удручен, раздражен и противен сам себе. Но, уподобившись населявшему его чело-

Айгуль Разитовна Ахметова родилась в Воркуте (Республика Коми). Высшее экономическое образование получила в Уральском федеральном университете. Публиковалась в «Новом журнале» (2023). В 2012 году заняла первое место в литературном конкурсе им. Б. Пастернака (номинация «Проза»), организованном Уральским федеральным университетом. С 2024 года живет и работает в Москве.

веку, не подавал виду: тяжело и грузно почивал на чужом ложе, раскинувшись вульгарно и размашисто, кряхтя, без стеснения справляя физиологические потребности, не гнушаясь мыслью о важности своего существования. О том, что он дышал, а иногда протяжно и глубоко вздыхал, напоминали то там, то сям вырывающийся из-под решеток ливневых стоков тонкий, словно газовый, тюль, пар, где-то внизу, ближе к преисподней; и густой слоистый дым, выкуриваемый легкими заводов, — тот сразу устремлялся ввысь, отравляя климат райских куш. В утренней прозрачности резче проступали многочисленные пути — провода, которыми город был обвязан, перетянут и обвешан. Впрочем, город был таким, каким его хотели видеть. Таким город, не сменивший ночную рубашку, застиг наш герой.

Но и герой наш, хоть и бодрствовал, был слишком погружен в себя, чтобы заметить настроение такого необъятного по сравнению с ним исполина. Хотя... наш персонаж был довольно внимателен и чувствителен к внешним раздражителям. Являл он собой молодого человека двадцати трех лет. Всего лишь случайный прохожий, скользнувший мимо, не разворачивая паспорта и никому, кроме проводника, не предъясняя (немного погодя) своего билета. Итак, имя его — Даниил, звучит основательно и твердо, годится на то, чтобы быть первым колышком, пригвождающим к любой мало-мальски ровной поверхности; как хороша здесь буква «Д»: двумя своими стопорками напоминает она неуклюжую башню, да, накрененную, но вовсе не собирающуюся куда-то заваливаться — просто она распределила свой вес так, как ей удобнее. С именем разобрались, черед за фамилией. Совершенно определенно она начинается с буквы «А», ибо призвана роднить нашего героя или его судьбу со звездой (необязательно той, что болтается в небе, — ничуть не хуже и звезда, обитающая на дне морском, — если не лучше: по крайней мере, она не упадет). И еще одна буква — «Л», ее главное назначение — напоминание о том, что такое быть смешным. Правда, в том шрифте, которым она набрана, вся ее особливость, инаковость, насмешливость утрачены; но вы взгляните на нее в какой-нибудь азбуке, алфавите, дабы узреть ее истинную личину — «Л»: разве вам не мерещится длинная штанина и голая нога под ней, распоясанность, бравада и шегольство, присущие артистическим натурам, паяцам, фиглярам, словом, тем, кто сознательно выставляет себя на всеобщее обозрение? Пусть эта буква больше ассоциируется не с невольным объектом насмешек, а с арлекином, ничуть не страдающим от своей природы, использующим смех как инструмент власти над толпой, готовым рассмеяться в лицо любому, кто смеется над ним. Нам того и надо! — нам надо, чтобы даже то, что досталось герою по наследству, приложилось к нему, приклеилось помимо его воли, над ним же и потешалось, служило подковыркой, напоминанием о том, что он — из плеяды «маленьких» и «смешных» людей, чужеродных, пришельцев, не умеющих устроить самих себя на нашей планете. Должны же они где-то быть и в наше время, «смешные» люди — не вымирающий вид животных, они не неандертальцы, они не кончаются, сколько бы ни старались истребить самих себя.

Фамилия нашего героя была — Авдалов. Имя — это слово. Слово — всего лишь шелуха, ороговевшая ткань, но оно же есть и имя. Оно же — первый признак безволия каждого из нас, первый сигнал того, что над всей своей судьбой мы будем не более властны, чем над собственным именем. Мы получаем его однажды и навсегда, лишены выбора, без спросу и без сомнения. И мы уже не принадлежим самим себе. Истлеет это тщедушное тельце сейчас еще младенца, холодное мерцание звездных плеяд станет теплее его дыхания, но имя переживет своего носителя, въедаясь, как ржавчина, в память, в могильные плиты и — если повезет — в сердца. Оно одно будет бледной тенью, усмешкой и доказательством нашего существования. Не значит ли это, что покуда не наречен, не назван, ты вроде как незамеченный и неподтвержденный, а зна-

чит, и ненастоящий, недействительный?.. Вот и выходит, что слово куда более материально, чем ты сам. Но не один ты порабощен и служишь слову — оно милосердно уравнивает всех людей, тварей, все вещи и даже ощущения, чувства и мысли — все сущности и явления. Слово хитро, оно потворствует нашим желаниям. Нечто, преданное забвению, загубленное, вымаранное, может быть воссоздано памятью и воображением посредством одного лишь названия. Все остальное, избежавшее словесного изобличения, облачения и заточения, — вздувшаяся пустота, пузыри, растекшаяся клякса и потусторонний мир. Нечто, не удостоившееся формы, заведомо лишается контуров, начала существования, не задерживается в нашем сознании и размывается, подобно линии горизонта между небесным сводом и морской купелью.

Что ж, дабы не обречь героя на упомянутую выше участь, мы его отделили от облаков и морской пены, вынесли на зыбучие пески и, как могли, застолбили; осталось дожидаться биения сердца и тепла живой плоти. Если, конечно, до этого какая-нибудь волна не дотянется до нечеткого образа и не утащит в пучину небытия. Но не пристало нам беспокоиться о будущем, находясь не в его тисках, — у нас не так много времени, чтобы тратить его на тщетные усилия, будем довольствоваться тем, чем располагаем, даже если на самом деле располагают нами.

Обозримая история нашего героя начинается в 90-х годах, не будем упоминать расхожее — «на обломках Советского Союза», банальностей и без того достанет. Родился Даниил в высоких обшарпанных стенах с отколупившейся зеленой краской болотного оттенка, под известковыми потолками с ржавыми разводами в родильном доме небольшого шахтерского городка на Крайнем Севере. Большие, с белыми деревянными рамами, зарешеченные окна, в щелях, заткнутых ватой, тряпками и поролоном, смотрелись жалко и удручающе. Такие окна обычно вибрируют и сыплют осколками белой краски при редком открытии — того и гляди, выпадет да прижмет зеленый, с черными полосками, лист щучьего хвоста — широко распространенного на местных подоконниках растения. Холодная, обтянутая дерматином кушетка, неприятного оттенка розовая пеленка и неизменная игрушка — всегда одна и та же — большая красная неваляшка, будто кого-то она может отвлечь и позабавить: ни роженицам, ни новорожденным она здесь ни к чему. К одной из стен прикреплена проржавевшая раковина с вечно капающим краном; внизу устрашающе торчат трубы, обмотанные скотчем и изоляцией, а одно место, казалось, и вовсе замазано пластилином. Со стороны казалось, что и вся раковина прилеплена к стене этим самым пластилином — настолько все было хлипким и ненадежным.

Данька не помнил своего рождения, как и всякий человек, но он позволил себе маленькую простительную вольность: выдумал и вкрапил в свою память одно-единственное краткое воспоминание о том, как в какой-то миг был выкорчеван из преданного забвению приюта и где-то на выселках вселенной оказался спянным с чужой плотью для того только, чтобы быть с нею разлученным. А воспоминания всего-то и было, что в описанную выше больничную палату входил мальчик лет одиннадцати-двенадцати и начинал движение вдоль стен, обследуя их, зачем-то проводя по ним пальцами или зажатым в них кусочком мела. Временами кусочек мела исчезал, и его место занимал уголек. Резкий неприятный скрежет от соприкосновения двух неровных поверхностей слегка царапал нервы. Окна и дверь, словно потворствуя некоему замыслу, благоволили куда-то подеваться: должно быть, старый дом закатил свои глазницы, решив вздремнуть.

Линия выходила непрерывная, но неточная: то скакала вверх, то где-то западала, и отдаленно напоминала кардиограмму. Вот уж комната была очерчена по всему пе-

риметру, но мальчик, казалось, не добился своей цели — он снова, не опуская руки, зашагал по только что пройденному маршруту. Он обошел комнату еще раз и еще раз, затем снова, еще и еще... Маленький кусочек уголька в детской руке был пробным камнем, которым старательно и сосредоточенно что-то выверяли. Хотел ли он убедиться в том, что стены не раздвинулись, что они не разверзлись, не отступили и не расширились? Хотел ли он проверить, насколько они реальны и неизменны? В них ли он сомневался или в самом себе? Им ли он не доверял или собственному осязанию? Он не задавался этими вопросами, лишь продолжал упорно, как паук, плести ажурную ткань силков, кокон, в которой можно было бы закатать собственное сознание. Он ловил себя, как ловят рыбу, как ловят бабочку, как ловят солнечного зайчика, — Данька пытался себя приручить, но выскальзывал из нарисованных границ, словно угорь, будучи схваченным, обращался в плеск воды. И все же эта игра не была лишена смысла: разнородные фракции воли, находясь в непрерывном взаимодействии, сцеплялись и уплотнялись, порождали трение и начинали сопротивляться друг другу, выталкивали друг друга, одновременно обмениваясь свойствами. Примечательность этого сопротивления заключалась в том, что оно подтверждало присутствие того, что иначе своего существования ничем не обнаруживало. Но это ощущение очень преходяще, оно нуждается в бесконечном доказательстве. Радость первого открытия сменялась тревогой и нетерпением, сознанием ограниченности, подчиненности и сдерживаемым отчаянием. Но разве ограничение и не было целью установления стен? Не на то ли нужны были стены, чтобы обступали тебя со всех сторон и заслоняли от взгляда приколоченную к небосводу звездами неизбывность ночи — ширму, прикрывающую, как веко, зеницу незавершенности и бесконечности? Бесконечность обескураживает и парализует — она не нужна.

Но что за блажь дурачить самого себя? Зачем верить в то, чего нет? Причина в неспособности принять реальность такой, какой она предстает: выцветшей, ободранной, убогой, пошлой, продажной и безапелляционно навязчивой. Данька, как и всякий человек, отчаянно нуждался в точке отсчета, ему хотелось плыть вверх, оттолкнувшись ото дна, а не тонуть в неизвестности при каждой попытке его нащупать. Первое воспоминание и было тем самым дном. Дно — это возможность, дно — это двойственность, дно — это почва, опора там, где ее быть не должно. Дно, когда смотришь вверх, — это проблеск веры.

Данька родился в двухстах километрах от Северного Ледовитого океана, в городке, название которого переводится как «Медвежий угол». Земля в оковах вечной мерзлоты, небо днем — как нависший над головами серый камень, небо ночью — кусок лабрадорита, иризирующего всполохами северного сияния; на непрочно сметанном стыке неба и земли — дома, все больше пятиэтажные, жмущиеся друг к другу от холода; призрачные шахты, выдувающие из прокопченных легких угольную крошку; чумы правильной конической формы с торчащими из верхушки жердями, напоминающими куриную лапку; олени с разветвляющимися рогами; втянутые в самих себя полярные совы и крадущиеся песцы; вызывающие умиление карликовые деревья и навевающие уныние болота; морошка, мятлик, иван-чай, выбившиеся из большого закопеченного грунта — все примечательное своими обреченностью, оголенностью, бескомпромиссной откровенностью; но здесь было о чем мечтать. Было здесь и то, от чего хотелось бежать. И люди бежали — бежали каждое лето на два-три месяца, чтобы непременно вернуться.

Даньке тоже приходилось «бежать» вместе со своими родителями с самого рождения. Благо душные железнодорожные вагоны без устали и проволочек скользили

по «дорогам смерти» напрямик в среднюю полосу и даже на самый юг, там опорожнялись и вновь набивались, чтобы металлической, распираемой изнутри змейкой уползти в ледяное логово.

«Дороги смерти» были проложены лагерными заключенными, для многих из них (если не для большинства) единственным памятником стали шпалы (если верить хроникам, на каждую из них приходится по две жертвы), под которыми они нашли свой последний приют. Страшно подумать о боли и отчаянии, которыми кишат железнодорожные насыпи, о крови и слезах, которыми вымараны стальные рельсы. Сколько безмолвных душ до сих пор сотрясается под каждым с грохотом проносющимся локомотивом!

Даньке еще мальцом доводилось слышать эти чудовищные истории, он понимал, что это правда, но не умел с нею обращаться, он отстранялся от нее, помещая в какой-то зеркальный мир, но и выполоть ее из себя уже не мог — знание пустило корни в самое сердце, обвило его терновым футляром. Никогда, никогда не позабыть Даньке этих дорог с тянущимися вдоль них остатками деревянных заборов (сложно было доставлять в такую даль материал для более надежных ограждений, да и нужно ли было? — куда бежать? — кругом тундра и болота).

Пересадки, ожидание своей очереди за билетом или задерживающегося поезда. В те времена желающих стать пассажирами непременно оказывалось больше, чем билетов, да к тому же в них не указывались места, а поезда опаздывали и на час, и на два. Время спускалось, как с молотка, за бесценнок в переполненном здании вокзала с заплыванным полом или на привокзальной площади, на платформе, загаженной голубями, усеянной окурками и шелухой от семечек. Для ребенка томительное ожидание слеплялось с чувством тревоги и подавляемого страха: пока мать металась от одной вереницы людей к другой, занимая очередь за билетами в несколько окон одновременно, Данька внимательно и напряженно следил за вещами, за окружающими и отцом, то и дело норовящим ускользнуть к буфету или киоску, чтобы промочить горло пенным пивом или чем покрепче. Удержать все в поле зрения и подле себя у Даньки получалось плохо: отец под предлогом того, что идет в туалет, отлучался и, юрко шмыгая среди чужих тел, растворялся в толпе. Даниил пытался отследить всю траекторию его движений, буквально цеплялся взглядом, как крючком, за спину в синей ветровке и, пожалуй, притянул бы силой воли обратно к себе, если бы только был наделен такой способностью. Раз за разом он терпел поражение, и это ранило детскую душу. В невольного соучастника истязания превращался узкий вокзальный мирок, отражающийся в распахнутом, чистом и увлажненном взгляде, осененном удивлением: высокие расписные потолки с огромными сверкающими, как на балах, люстрами; картины на стенах: пастельные краски и пестрота, мешанина из людей, саней, лошадей, храмов и заводов, наступающая со всех сторон, — все в одном ярком неразборчивом пятне; темно-серые в крапинку колонны и балясины, воткнутые в точно такой же темно-серый в крапинку пол, полированный, скользкий, как будто залитый незастывающим цементом, хватающим за ноги случайных паломников вокзала.

Земля под ногами словно проходила все стадии истерики: дрожала, тряслась, ходила ходуном под грузными телесами прибывающих и отправляющихся машин. Ощущения подвижности, шаткости и неустойчивости втекали через ноздри в легкие, находили душу, бередили ее. Казавшееся нескончаемым ожидание обрывалось, словно спасительный трос, то для одних, то для других. Протяжный гудок приближающегося состава заставлял сердце колотиться и трепетать от предвкушения встречи с холодной, трезвой, расчетливой скоростью. Но то были времена, когда недостаточно

просто оказаться на перроне, когда подкатится и с одним-двумя подергиваниями, со скрежетом остановится состав, — надобно пробиться сквозь толчею таких же пассажиров, отыскать свой вагон, когда он тяжелым увальнем скользит по рельсам, бежать с ним вровень, настигнуть его, когда он прекратит движение, затем проворно протиснуться первым к заветной двери и, не споткнувшись и не поскользнувшись на высоких и узких ступенях, очутиться внутри осыпаемому ругательствами и недвольными вздохами. Но сколько бы гнева и раздражения ни звучало в этих голосах, они утыкались в спину нашего маленького героя и, отскочив от нее, словно деревянные дротики, безобидно осыпались на пол. Данька же тем временем успевал выбрать места в плацкарте, желательнее не рядом с туалетами. После оставалось только удержаться за собой захваченные полки — мальчуган лет четырех-пяти едва ли мог что-то противопоставить взрослому человеку, вознамерившемуся претендовать на все или часть охраняемых мест, но, как ни странно, за все свое детство Даньке не довелось столкнуться со сколько-нибудь устрашающим отпором.

Жизнь раскадрирована и похожа на фильм. Данька — не марионетка, выставленная на подмостки для чьей-то потехи. Но он и не режиссер. Зритель? Пожалуй, нет. Он монтер, тот, кто выбирает и склеивает кадры, тот, кто вырезает лишнее и располагает картинки в определенном порядке, подчиняя время и хронологию событий веянию, предчувствию, смутному ощущению смысла. Он тот, кто укрощает хаос, извлекая из него невысказанность. Он словно паук, отлавливающий в сети своего мироощущения насекомых забытых или нераспознанных идей. Фильм не бывает бессмысленным. Вернее, вот как — чем более он бессмыслен, тем больше он нас обескураживает, выворачивает наизнанку реальность и не то без экивоков заявляет, не то вводит в заблуждение, что смысл настолько глубоко запрятан, завернут в бесконечные складки некоего гениального ума, написан на языке не всем доступной высшей математики или метафизики, что и не должен быть извлечен и постигнут. Ощущение бессмысленности и надувательства, постановки в тупик лицом к лицу с абсурдом как нельзя лучше выступают доказательством наличия задумки, сюжета и развязки, которую, только и всего, не смог понять зритель. Правда, непонятно: если смысл все равно планировалось утаить, к чему нужно было расщепление и утрамбовывание событий, отчего нельзя было позволить им идти своим чередом? В ответ — безмолвие, скорее свидетельствующее о замешательстве, нежели о кокетстве и интриге.

Конечно, Данька не играл сам с собой в слова в столь юном возрасте, не растолковывал себе свою роль в своей же жизни, не прокладывал столь витиеватые и, вообще-то, пресные параллели, ассоциируя себя с монтером или режиссером, нет, он не заблуждался и более чем удовлетворялся позицией наблюдателя, зрителя, не маясь вопросом «зачем?». Он понимал, что мало что понимает, но это было прекрасно. В том возрасте легко смириться с мыслью о собственном несовершенстве, об изъянах, которыми на самом деле только предстояло обзавестись, впитывая знания внешнего мира. И Данька как некий фагоцит неустанно и жадно поглощал атрибуты внешнего мира: картинки, символы, знаки, жесты, правила, обычаи и т. п., ферментируя, спешно переваривал их, не задумываясь, выуживал отдельные волокна из доставшегося ему лоскута грубого вселенского полотна и вшивал в ткань собственного мироощущения. Время, неудерживаемое и непогоняемое, бережно переживаемое, было снисходительно-благосклонно, раскатывалось как солнечное марево по свежей зеленой, напоенной росой лужайке. Оно растекалось по сосуду памяти, медленно и размеренно; меняло свои свойства, иногда было тягучим, как мед, иногда густым, как кисель, иногда прозрачным, как родниковая вода.

Но суэта брала свое: мельтешение лиц, сумок, несмолкающий гул, звуки плевков, бьющегося стекла бутылок, ругань, перепалки, всеобщее напряжение и недовольство вкуче с беспрестанным движением поездов наваливались на хрупкие детские плечики тяжче поклажи и заставляли сникнуть и приуныть даже самого непоседливого и энергичного сорванца. К тому же непрерывная череда новых впечатлений требовала внимательности и сосредоточенности, изнуряла, слепляла веки невидимой пылью усталости, от которой нельзя было отряхнуться ничем, кроме сна. Меж тем день был длинен, как тянучка, чуть ли не грозил обернуться бесконечностью. Он был свеж и румян, как наливное яблоко, искрист и маслянист, как только что вышедшая из-под кисти художника картина. Он переливался, как самоцвет, воспалял и расплавлял мозг, как знойное солнце. Реальность играла и перемежалась с фантазмагорией, раскрывалась всей палитрой, пестрела аллюзиями и намеками, скукоживалась и расправлялась, как диковинный цветок. Но несмотря на это, вся природа источала благосклонность, еще была не насмешлива, дарила смирением и благодушием. Усталость была проста и незатейлива, легко отступала, печаль сгонялась одной улыбкой и теплым словом, сложное так легко расщеплялось на простое и понятное, желания не терзали своей витиеватостью, порой, правда, пути их исполнения оказывались непроторенными, но доступными чуткому и незамутненному сердцу. Природа как будто была готова потворствовать эгоистичным чувствам и порывам, поощрять смелость и дерзость, сквозящие в детском лепете и топоте.

Чудится, что это было совсем недавно, как легкий сон, еще не растаявший поутру, как морозная свежесть, дохнувшая в лицо и окатившая сознание желанной прохладой. Но минули не дни только и не месяцы — промчались годы. Ничто не осталось нетронутым, все претерпело изменения: город, вокзал, Даниил, время. И все это немного изменило самому себе.

Нынче Даниила совсем не тяготила необходимость пребывать наедине со временем. Он готов был насладиться общением с ним сполна в бездумном и бесцельном брожении по вокзалу, по перрону, предаваясь своим мыслям, повторяя про себя под аккомпанемент любимых мелодий, звучащих в наушниках, строчки из любимых стихотворений, всматриваясь в многозначительную и бесцельную суматоху вокруг себя. На воспаленные нервы иных представителей современной молодежи такое занятие способно оказать благотворное влияние, установить непрочное равновесие, легко опрокидываемое спокойствие, из которого можно взирать на действительность с пассивным удивлением. В эти минуты Данька чувствовал себя по-настоящему одиноким и покинутым — где, как не в толпе? Но обособление это сопрягалось с приятностью, покалывало кожу осыпающимися крупичками свободы, забиралось в глубь гортани, растворяло взбитый тошнотворный комок. Немудрено: прямо здесь и сейчас застывает, трескается и осыпается, как змеиная чешуя, как ороговевшая кожа, социальная мантия, теряют значение статусы, виды деятельности, объемы труда, количество промахов и заработанных наград. Нет нужды держать лицо, корчить рожи, манерничать, скрывать и прислуживать, проявлять усердие, старательность, прилежность, изображать сосредоточенность и увлеченность. Вероятность встретить своего коллегу или начальника почти что сведена на нет (по крайней мере, они не собирались сегодня в командировку), кругом люди, мнением которых ничего не стоит пренебречь, если вести речь о стяжании новых атрибутов или об увертывании от нагоняев (попробуй-ка оставить без внимания какого-нибудь разбубенистого молодчика, едущего с вахты, несколько суток заливавшего себя спиртом в таких объемах, что его организм уже должен был превратиться в кунсткамеру). Царящая вокруг сумятица, бро-

уновское движение людей, гул, разнонаправленность — ни дать ни взять мир жужжащих насекомых в жаркий летний день, — сами того не зная, могли бы посоревноваться с неразберихой, творящейся в мыслях Даньки.

И представьте: вот в неопределенность, в неустойчивость, в струящуюся дымку, в дрожащую натянутую пустоту вдруг вонзается стрела железнодорожного состава. Словно тяжелый булыжник, брошенный в воду, врезается в песчаное дно. В Даньке из-под кучи пластов настроений и переживаний поднимается тихий восторг. И сердце уже трепещет, и легким хочется добавки к привычной порции кислорода. Чувство благоговения, желание подчиниться и покориться накрывают с головы до ног. Поезда делали с Данькой то, что мало кому и чему удавалось, — они будоражили воображение и оттесняли грубую реальность на периферию внимания. Представая чем-то не вполне земным, не вполне рукотворным, они выступали своеобразными проводниками, отсекающими границы и переправляющими через них. Грозно и величественно, с громовым грохотом, рассекая пространство, мчатся вагоны, хоть и шарахаясь из стороны в сторону, по своей колее; в них решимость преступника, попирающего законы, разрушающего закосневшие нормы и устои. Есть что-то роковое, вакхическое в соединенных друг с другом колесных парах, напоминающих шлемы грозных, бесстрашных викингов, внушающих ужас и сотрясающих землю. В резких поворотах, в стремительности и скорости, в неумолимости и неотвратимости, во всем облике и во всех перекатах, во всех движениях могучего исполина есть что-то от самой стихии, от судьбы, фатальности. Чудилось даже, что бандаж, колеса, буксовые узлы — это веретена и катушки, виселицы и плахи, ведающие о том, сколько нитей судеб в них вплетено и намотано, что смазаны они кровью и слезами неотживших, но истаявших душ. Состав тяжело дышал, торжественно-заунывно возвещая о своем приближении, надвигался, отрезая пути к отступлению. Нехотя, оказывая одолжение, он притормаживал и наконец замирал на месте. Тяготясь своей обездвиженностью и раздражаясь внутренним копошением, он фырчал и вздыхал, с нетерпением ожидая отбытия. Застывшая вереница вагонов стояла стеной, неборимой и непреодолимой, той самой стеной, по которой дважды два четыре, по которой действуют законы природы. Конечно, ее можно было обойти и справа, и слева, физических препятствий для того, чтобы поднырнуть, не наблюдалось, при большом желании и перелезть по силам, и все же была тут стена. Стена оттого именно, что не хотелось ни перелезть, ни обойти, ни поднырнуть. Стена как-то вдруг воздвигалась внутри, в желаниях, в воле. Ты вроде как признавал за машиной право распоряжаться собой. А наличие манящих зазоров, лазеек, щелей, в которые можно было просочиться, втиснуться, выскочить, еще больше способствовало повиновению и покорности чужой, даже неодушевленной, механизированной воле.

Холодный октябрьский ветер обвевал бледное напряженное, искажаемое скрываемым отвращением, но не утратившее детскости лицо Даниила, иссушал кожу, стягивал ее в маску, вызывал красноту, но не здоровый румянец. Природа вокруг будто на что-то гневалась, чем-то мучилась, готовая разрешиться рыданиями, но сдерживала себя. Она неволила себя из последних сил, затихала на мгновения и вновь протяжно завывала. Безотчетные порывы ярости схлестывались с волей к самообузданию, удары становились все интенсивнее и ожесточеннее, мало-помалу приступы раздражения переходили в неистовство. И вот она замерла на несколько минут, уняла сбивчивое дыхание, уgomонила ветер, застыла в неподвижности... но не выдержала, надорвалась и обрушилась. Спустя несколько минут неподвижной тишины мелкими шариками посыпал, зачастил дробью снег; он ударялся об асфальт, упруго отска-

кивал от него, как детская пулька, и вновь приземлялся, снова подхватывался ветром и скакал по перрону, пока не оказывался сгребенным в кучку своих собратьев.

Данька пожегся и за неимением перчаток сунул руки в карманы. Пассажиры, желая спрятаться от гнева небес, потянулись к зданию вокзала. Наш же герой остался снаружи, несмотря на то, что весь трясся изнутри и не мог унять эту нервную дрожь. Таково было его обыкновение — дрожать в ожидании поезда.

И так ничем не подстегиваемое время вконец разомлело, размякло и как будто разлилось в круг. Время, загнанное в теснину будней, таким не бывает — оно мстит, закручивается в воронки, месит и ломает кости. Хрупкие стрелки часов двигались без остановки, но как-то синхронно с часовым механизмом, тикающим внутри организма.

Наконец объявили о прибытии Данькиного поезда, сообщили номер платформы и пути и то, что нумерация начинается с хвоста состава, напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными. Спешить было некуда, но Данька тотчас двинулся в здание вокзала с тем, чтобы поскорее пройти через туннель к своему пути — иначе он не мог: ему хотелось первым оказаться у своего вагона. Не удалось — путь то и дело преграждали чужой багаж, маленькие дети и даже — откуда ни возмись возникающие в таком количестве — милые домашние питомцы, с удовольствием путающиеся в чужих ногах. И это не говоря уже о самих хозяевах дорожных сумок, авосек, корзин, чемоданов. В конце концов Данька протиснулся к своему девятому вагону. Не первым, но какое это имело значение? Имело значение лишь то, что он, как и остальные, окажется в вагоне через считанные минуты, что его не оставят, не позабудут, возьмут с собой, как всякого другого человека; что его признают человеком, наделяют правом передвижения, перемещения в пространстве. В этой простой и общедоступной ныне возможности для Даниила заключалось нечто большее, чем простое изменение координат физического тела: он чувствовал, что деформации подвергаются в движении и время, и то, на что оно воздействует.

Нам еще предстоит обследовать неизведанные тайники свернутых в гармошку миров, спрятанных от посторонних глаз, а пока: проводник с важным видом проверяет билет, с хитрым прищуром вглядывается в лицо, в чем-то на всякий случай каждого подозревая, сличает его с фото в паспорте, возвращает документы и напоминает номер места. Далее — подъем по узким вагонным ступеням, с которым лучше справиться без опоры на протертые грязной тряпкой поручни, ведущая внутрь дверь и продвижение к своему месту — тут следует избегать чужих ступней, матрацев и одеял. Ну и с этим покончено. Место — боковое нижнее, понятное дело, что узенькое и проходное, но вполне сносное, привычное. Слегка обрадовавшись отсутствию соседа, Данька водрузил на соседнее сиденье свой рюкзак и, не снимая верхней одежды, разместился на своем месте, приняв несколько противоречивую позу: внешне он подобрался и сжался, а внутренне как-то рассредоточился и обмяк. Да так и замер. Недавняя взбудораженность и прилив сил оставили его, обобрав, высосав и опустошив. Спина выгнулась вопросительным знаком, плечи опустились и вывернулись, как у сложившей крылья летучей мыши, голова отяжелела и просила подпоры, лицо приняло мученическое и при этом глуповатое выражение, оно выглядело ненастоящим, восковым: подбородок расслабился, уголки губ приспустились, обнажив выступающий вперед резец; в померкшем взгляде читалась грусть. Весь облик сквозил растерянностью, свойственной людям, оглушенным чем-то непоправимым, не вмещающимся в их сознание, обескураживающим и лишаящим ощущения самого себя — словно смотришь на себя со стороны, как на неодушевленный предмет или, по крайней мере, совершенно посторонний объект. Но стоит, правда, заметить, что если бы Данька видел себя со стороны,

то рассмеялся бы. Хотя он остро чувствовал, что смешон, что смешны его переживания, что они не стоят и выеденного яйца; оттого, что он этим мучился, ему было горько, досадно и стыдно. Разум упирался в тупик, пытаясь постичь причины тревоги глупого сердца. А сердце молчало, разум насмехался над ним, но и власти возыметь не мог — угождал в стремнину и разбивался о рифы сомнения, так и не поняв своей ошибки. Пожалуй, будучи на слишком близком расстоянии, мы тоже не сумеем разгадать формулу яда, парализовавшего нашего героя, но все же покружим, пореем над ним — вдруг удастся что-то выведать и поведать рассудку. Понаблюдаем за сплином и реакцией на различные раздражители.

Автор сильно введет в заблуждение или даже попросту обманет, если не опровергнет поверхностное впечатление от героя, ведь он не был пассивен и бездеятелен, а в одной стезе и явно преуспевал, проявляя по инерции недюжинную активность даже во сне. Данька боялся. Боялся денно и ночью, неустанно тряся всем своим существом с выпученными ли, с зажмуренными ли глазами, боялся дома и на улице, один и среди людей, людей и самого себя, стен и крыш, неба и земли, осознанно и не отдавая себе в том отчета. Его пронизывала дрожь от грусти и нечаянной радости, от воспоминания давно минувшего и от переживания настоящего, он без разбору боялся хорошего и плохого, не умея отделить одно от другого, — он боялся на всякий случай и просто так. И при этом он ужасно стыдился своего страха и неумения его обуздать. Для самого себя он боялся как-то уж очень комично, карикатурно, как-то гиперболочно даже, ни дать ни взять — Премудрый пискарь. А еще он завидовал: завидовал тем, кто не был на него похож. И ему казалось, что на него никто не похож. В самом деле, людей, делающих свой выбор по критерию «мне бы что посложней», не так много. Посложнее, потернистее, а порой и — поневыносимее.

Вот и очередные непохожие на него, намеревающиеся превратиться в пассажиров, продолжали проходить на свои места, задевая ноги Даниила сумками, отирая своими поверхностями его плечи, как мушки кружась на периферии зрения, оставляя зацепки на мгновение назад бывшем цельном полотне внимания. Топот ног и шорканье сумок раскачивали и раздражали нутро вагонов, вызывали у них изжогу, но они покорно покоились на рельсах, пока наконец нетерпение не нашло свой исход в протяжном гудке, и дискретное тело огромной машины не дернулось, словно сведенное судорогой, туда-обратно.

Наконец все разместились: устроились и люди, и сумки, все ненадолго стихло в ожидании скорого отправления, лишь проводница делала последний обход, удостоверяясь в том, что в вагоне не осталось провожающих. Томиться осталось совсем немного.

Спустя несколько минут хлопнула дверь — содержимое вагоньего мира больше не вываливалось наружу, его запаковали и опечатали. Все сжалось и подобралось. Все наружные звуки отступили, затянулись в приглушающие их чехлы. Даниил устался в толстое оконное стекло, втиснутое в деревянную раму. На соседних путях тоже стоял состав. Но вот поезд тронулся, так легко и плавно, что Данька не тут же понял, поплыл ли его вагон, или состав на параллельных путях в окне, и не откололась и не задрейфовала ли сама платформа. Кратковременная зрительная иллюзия, замешательство и смущение чувств скоро разрешились сначала мерным, но набирающим скорость перестуком колес и приятной, ничему больше не свойственной качкой. За окном еще мелькали люди, но мелькали они все реже; тянулось длинное здание вокзала — новое закончилось, показалось старое, хворое, выцветшее и облупившееся; затем потянулись ряды разбросанных пассажирских и грузовых вагончиков, депо,

гаражи и цеха, постройки, рабочие временки, отдаленные районы города, большой рынок, свалки. Таков был выезд из города.

Еще не кончился город, а пассажиры уже вновь оживились, засуетились: время шло к обеду, пора накрывать на стол. Да и есть уж такое обыкновение, что в какое бы время суток ни сел в поезд, а проголодался. Начались хождения туда-сюда с полотенцами, кружками и банками. Проводница успела повторно проверить документы и билеты, теперь предлагала чай и кофе, предложила и Даниилу, он отказался. Ему так хотелось, чтобы никто его не отвлекал от самого себя, от своих мыслей, и почему-то он смел на это рассчитывать, так что каждая просьба, каждый вопрос, каждое слово, обращенное к нему, заставляло врасплох и вызывало раздражение.

Данька не знал людей, часто не понимал их чувств и эмоций, не угадывал мыслей — они словно лежали под каким-то неподъемным спудом, манили к себе и тут же от себя отворачивали, виделись тайником и зловонной кучей. И вместе с тем перед иными людьми Данька благоговел, но стеснялся на них смотреть в открытую, а потому глядел украдкой, боясь оскорбить доверчивым и любопытным взглядом, выказать свое ничтожное расположение, а подчас и тут же подвертывающуюся щенячью преданность. Большинство людей, с которыми он был знаком накоротке, с которыми чувствовал себя раскрепощенно и непринужденно, кому мог поверить свои тайны, в чей адрес отпускал язвительную насмешку, кого окатывал резкой критикой, с кем вступал в полемику, на которых мог обозлиться или признаться в искренней симпатии, были глухи и безответны — они были мертвы: то были писатели, немногочисленные, мудрые и безумные, откровенные и лукавые, цельные и противоречивые, чужие и родные — такие разные, они немотствовали и кричали, вели за собой и бросали, повествовали о свете и подталкивали к бездне, маячили с факелом надежды и ввергали в отчаяние; отжившие, погребенные, забвенные и увековеченные — они давали то, чего не обещали. Помимо них, в душе Даньки топталась горстка живых глашатаев своего времени, с кем наш герой умудрялся находить общий язык и общие темы, но к ним он обращался крайне редко, только в особенном расположении духа — это была откуда ни возмись возникающая жажда жизни, сдерживаемая и обуздываемая тяга к людям, это была дань желанию проникнуть в недра общества, разделить с ним его суматошный ритм жизни — это была попытка очеловечиться. Но и без того редкое это явление было весьма кратковременным и не имеющим последствий.

Открытие новых авторов, знакомство с ними происходило медленно и тяжело, если не болезненно — они неизбежно сопоставлялись с теми монументальными несокрушимыми авторитетами, живыми изваяниями, которые, как вековые деревья, пустили корни во взрыхленной благодатной почве души, к слогу и звучанию которых приносились и слух, и нутряные фибры. Новые «знакомые» неизменно уступали тем, кем Данька уже был околдован и очарован, которых не хотелось предавать. Вдобавок к этому в сотый раз необходимо было доказать себе, убедить себя, что ничего лучше найденного ранее быть не может, что столпы, омытые слезами умиления, неизменны, сомнению, подмене и свержению не подлежат. Всякий раз, как обнаруживалась какая-нибудь книжная драгоценность, шелуха страха, такая плотная и тесная, сковывающая и обертывающая сознание, как мешковина, поддавалась и прорывалась под натиском неистового необозначенного чувства, и слезы благодарности, умиления и смирения окропляли ароматные, хрустящие, шелестящие, как прелые осенние листочки, частицы материализовавшихся душ, ласкаемые трепещущими пальцами, которые словно боялись стереть пыльцу волшебства с крыльев чужого вдохновения; губы растягивались в блаженной улыбке, лицо озарялось тихим счастьем, страдальческим, вне-

временным и непреходящим — такое бывает на ликах святых и раскаявшихся грешников. Данька замирал от восторга, у него захватывало дыхание, и в то же время он очень досадовал, стоило ему наткнуться на трогательные, чистые, вешние, созвучные собственным мыслям вещи у современников, у живых, с обтянутой теплой кожей костями. Нет, этого он не мог ни понять, ни простить им: живое слово вкупе с живым телом, с пульсирующей кровью, изменчивостью, податливостью — это невыносимо. Поучения, наставления, громогласность и безапелляционность, да даже колебание и сомнение, а еще воздействие на самого себя он мог позволить лишь мертвому, отжившему, непоколебимому, застывшему изваянию. Даньку очень коробила необходимость допустить, что он может оказаться понятным и прозрачным для какого-то удачливого прозорливого прохожего, в то время как он сам списывает свои промахи на запутанную прихотливую и неуживчивую натуру, в становлении которой стоит пенять не только на самого себя. Даниилу хотелось, чтобы все точные, выверенные, оригинальные мысли переливались и переплавлялись в умах, избавившихся от тлена, а фразы выдувались исключительно из заколеченных ртов вечности глухим, едва различимым стоном, рыком, бормотанием, чтобы от них веяло свежестью ледяной глыбы, чтобы они были незыблемы и неподвластны настроению и прихотям их произносящих. Что уж и говорить, Даньке определенно по нраву мертвые писатели. Им можно не завидовать, их можно постигать без опаски, что они скажут что-то более новое, отринув и предав уже проповедованное, опаски плестись позади, не заботясь о том, чтобы быть обогнанным и осмеянным, но подвергаясь угрозе того, что они когда-нибудь передумают и заклеят глупостью все возвращенное в густой тени на каменистой почве. Мертвые ничем не заняты, им безразличны деньги и слава, время их прошло и осталось с ними навсегда, они не строят козни, не злорадствуют и не злословят, не норовят тебя унижить при первой представившейся возможности, зато они свободны и готовы служить тебе, не отвергая, не рая равнодушием, не даря предпочтением другого, не оскорбляя и не требуя взамен ничего — ни уважения, ни почета, ни лаврового венка, ни простой благодарности. В придачу к этому была еще одна веская, сознаваемая и невытеснимая причина: мертвые писатели бестелесны, воздушны, эфемерны, им доступно то величайшее и ужасающее знание, которого страшился и вождедел погруженный в себя читатель: знание таинства расставания с телом, разлучения с ним и продолжения существования — это разрешило бы противоречие, снедающее, разъедающее внутренности, как кислота.

Даниил стыдился своих мыслей, но, отыскивая их скелеты, обнаженные или ряженые телеса в жадно поглощаемых историях, весь встрепетывался, обоженный чужим пониманием, сопричастностью к образам, умозаключениям, опыту, переживаниям постороннего, и тут же сглатывал горечь уязвленного самолюбия — выходило, что вроде как зря пыжился и носился со своей незатейливой идейкой, которая на поверку оказалась и не нова, и не оригинальна, меж тем как он терзался родовыми схватками, изнемогая, напрасно ожидая, что разрешится вскоре дитятею и испытает чувство удовлетворения и отдохновения, меж тем как сам был бесплоден. Он начинал потихоньку проникаться уверенностью, а потом и вовсе прозревать, что все уже придумано, сочинено, все сказано, все открыто, описано десятками, сотнями, тысячами и сотнями тысяч способов. Это как семь нот, к которым ничего не пристает и от которых ничто не убывает. Попробуй изобрести восьмую. То же самое с цветами, со словами, с временами года — они лишь играют на оттенках наших впечатлений, слепо подчиняясь своему повелителю — пустоте, порождающей различные связи и сцепления. Втягивая, как черепаха, голову под панцирь, обращая взгляд внутрь себя, Дань-

ка лоб в лоб сталкивался с этой неизъяснимой пустотой, пологой, звеняще трезвой, лаконичной, хрустальной тишиной. Она была структурирована, как молекулярное соединение, блестела и искрилась, как стекло, покрытое морозными узорами, сверкала слепками папоротников, отпечатками крыльев дивных птиц, витиеватыми вензелями, цветами и снежинками. Пусто? Колко и пусто. Тесно и пусто. Пустота наступает, не приемля границ, наваливаясь изнутри, ввергая в горнило сомнений и терзаний. Ну, положим, что действительно там теперь пустота — среда обитания сомнений, фантомов, сожалений... Господи, как пусты эти слова, которыми автор тщится передать ощущение от пробоины не то в своей, не то в чужой груди! Какое малодушие — стремиться заткнуть проржавевшими словами ноющую брешь! Но пусть... пусть хотя бы так. Но ведь прежде было иначе: и Данька когда-то был движим твердой волей, порывами и страстями, взбудоражен, неистов, упрям и непреклонен; он был обуравем ненавистью и жгучей болью, неудовлетворенным желанием, был подвластен гневу и ведом завистью. Пусть все было отрицательное, пусть все было непутевое, эгоистичное, мещанское и грубое, забудем о понятиях, входящих в восхваляемую категорию добродетели, как о не имеющих корней в самой личности, как о наносных, напыщенных, исходящих из одного лишь тщеславия, направленности на внешнее, на соответствие чьим-то ожиданиям, как средству избежать порицания. Что со всем этим случилось? Перетерлось, перемололось, израсходовалось или остыло, замерло и затвердело? Смешной вопрос ремесленника, не уследившего за своей мастерской, но осмелимся подобрать соответствующий ответ — какой-нибудь пафосный, составленный из нагромождения понятий и пролепетываемый устами ребенка. Правда ведь, смешно? И не так раздражающе, ведь вам заранее известно, что тот, кто изрекает слова, не есть тот, кому они принадлежат. Если забыть о том, что слова вообще никому не принадлежат, будучи теми самыми пресловутыми вещами в себе.

Поезд — это хорошо. Сел себе и едешь. Что бы ты ни делал, в каком бы направлении ни двигался, даже если замер на месте, — все равно окажешься в пункте своего назначения. Ты достигнешь какой-то цели, почти не прилагая усилий. Ты всего-навсего позаботился о билете и сел в нужный поезд. Остальное за тебя сделает дорога. Пути, пригвожденные к земле кровью, потом и слезами тысяч и миллионов проклятых людей, ставшие кладбищами без крестов и надгробий, кажется, пропитались отнятыми жизнями, обрели суровую, непокорную, несломленную единую душу — душу павшего народа, широкою, отважную, жертвенную и безрассудную, — с такой душой можно мчаться без оглядки, без тени сомнения, наперегонки с ветром, потому что терять нечего и обретать нет смысла. Такую душу не отковырнуть и не раздавить. Ее можно уничтожить, лишь лишив земли, а земли тут предостаточно. Данька с изумлением взирал на железную дорогу, грезилось ему, что по рельсам, как по лезвиям, с искрой проносится сам русский дух, сама история восстает и мрачным вековым шепотом поверяет свои вековые тайны. Нет-нет, Даниил не отдавал себе в этом отчета, не облакал в слова свои смутные мысли, а только предчувствовал и с охотой поддавался неизъяснимым чарам, ворожбе, кем-то над ним для него одного свершающимися.

Данька будто мимикрировал — в оконном отражении он сливался с самой местностью, терялся в пространстве, становился прозрачным, растекался, как акварель под каплей воды. Так удобнее наблюдать, оставаясь нераскрытым, незамеченным. А он не мог не наблюдать, не мог окончательно отгородиться от людей — они обступали его со всех сторон, отнимали твердь и воздух, отвоевывали территорию, время, эмоции, мысли, они доставляли немало неудобств, не давали покоя, занимая собой, своими мыслями о нем, о пустом месте, об окопавшемся, о бесправном.

— Снова «рыба»?! Хватит, надоело интеллигента советского корчить! — во всеуслышание заявил, выплескивая раздражение и недовольство, крепкий, коренастый мужчина лет тридцати пяти-сорока, сидевший в купе напротив Даниила. — Завязывай! Или давай карты, или я — пас, — выдержав паузу и видя, что никто не бросился исполнять его распоряжение, присовокупил: — Нет, ну в самом деле, прекращай это баловство, доставай деньги и водку!

Для пушей убедительности нарушитель спокойствия, полусогнувшись, выпячивая пятую точку, поднялся со своего места и почти уперся макушкой в верхнюю полку, как оттуда ему прилетел свинцовый приказ:

— Заткнись и сядь!

На Даньку, уставившегося в окно, приунывшего и помрачневшего из-за отнятой возможности провести время в пути в относительном спокойствии и тишине, отдавший приказ голос, его тональность, резкость, повелительность и какое-то безапелляционное спокойствие, ровность произвели впечатление: такому внушению сложно противиться. Совокупность этих свойств, сошедшихся в громыхнувшей короткой фразе, возымела столь потрясающее действие, что Даниил тут же забыл о своем разочаровании от несбывшихся упований на дорогу. Он словно выскочил из оцепенения: надо же, где-то совсем рядом есть что-то интересное, что-то заслуживающее внимания. Даньке захотелось посмотреть на обладателя голоса, но в то же время ему было неловко столь неприкрыто выставлять свое любопытство на обозрение. «Как же, сидят вот все и только обо мне и думают: куда-де этот мальчишка свою голову повернет, на что устанется, ах, какая это была бы честь, ах, как бы мы посмеялись над ним, ах, как бы сразу стушевали (ох, и фантазер же: прям-таки „куда-де“ да „стушевали“ в лексиконе у типчика с девиантным поведением должны найтись для Даньки) его возгласом: чего вылупился?» — думал Данька про себя, продолжая буравить оконное стекло.

Тот, к кому были обращены слова сверху, был вполне урезонен. Послышался звук быстро сдувшегося воздушного шарика — это грузное тело воссело обратно на обитое дерматином сиденье. Такое себе короткое «пфф...».

Лица того, от кого исходил приказ, не удалось бы разглядеть, даже если бы Данька, осмелев, повернулся и посмотрел на занявшего его внимание пассажира: тот лежал, повернувшись к стене и накрыв голову согнутой в локте рукой. В отличие от усмирленного и угрюмого, сидевшего внизу, этот не имел атлетического телосложения, но и хилым не казался: рослый, несколько худощавый, но при этом широкий в плечах, да и под свитером угадывались не рыхлость сальца, а явственно выступали мышцы рук — вероятно, этот человек постоянно занимался спортом или, по крайней мере, тяжелым физическим трудом. Тело само по себе в сочетании с непринужденностью принятой позы, излучая некое энергетическое поле, как бы недвусмысленно намекало на дерзость, вызов, провокацию. Даниилу и вовсе чудилось, что стан незнакомца окутан неким темным ореолом, как будто черты его сами по себе, без участия света, растушевывались тенями, как будто рой мошкары роился рядом с упругой плотью, ожидая падали. Вот еще минуту назад ты этого не замечал, не был во власти этих паров, не догадывался об их существовании, но вдруг они достигли твоих ноздрей, и все изменилось: уплотнилось и накренилось. Может, это состав слишком разогнался? Этот загадочный пассажир, как и все прочие, всего лишь человек, хоть и — бессмысленно отрицать очевидное — с весьма незаурядной энергетикой, если и не подчиняющей, искажающей волю окружающих, то уж точно колеблющей, заставляющей ее претерпевать значительные изменения. Ослабь сбрую радио, накинутаю на воображение, и тут же вынешь человека из ячейки общества, выдернешь из всей человеческой ра-

сы и возведешь (или опустишь?) его до ранга бездушной стихии, от которой исходит неукротимая, необратимая, неумолимая, безжалостная угроза. Не ненависть, не ревность, не зависть, никакой нравственный императив, ничто человеческое, за исключением инстинкта, не будут верховодить этим хищным существом, одна лишь природа властна над его умом и сердцем.

Как же он притягателен, загадочен, тем более в своей недоступности обзору: впечатлительной, тонко чувствующей натуре с непоседливой фантазией так и видится некий зверь, грациозный, но притом стремительный и сильный, выискивающий и выслеживающий тигриным взглядом свою добычу, вырывающимся из своих сафари и посягающим на городские джунгли, не ведающим и не блюдушим человеческих законов, попирающим мораль. Грубое естество, брутальность и — подходящее по смыслу, но не по звучанию — слово «нативность» должны дополнять характеристику человека, лица которого Данька пока не смог увидеть.

Большая часть внутреннего мира Даниила была населена персонажами разных книжек, он чуть ли не весь был напичкан бумажными человечками, но не имел привычки перегонять обитателей своего и чужого воображения в мир реальный. Не хотел, или просто не выходило. Если быть до конца откровенными, то объяснение, почему он не смел примерять книжный мир к миру во плоти, было весьма заурядным: первому ни за что было не сравниться со вторым, он ему и в подметки не годился, он не был ни его тенью, ни его силуэтом. Он был его идеей, игрой, пустотой, игрой с пустотой. Его вопиющие ущербность и убогость бросались в глаза. Это было какое-то проявленное, видимое ничто. Но помимо этого «ничто» не оставалось больше ничего. Но порой сознание с молниеносной скоростью само собой выделяет некие кульбиты, за которыми остается только наблюдать. Да и почему бы и нет? Почему бы не сдвинуть разнородные пласты в единую почву, не состыковать их, не замесить реальность и вымысел — а ну как одно в другое перетечет, вольется и заиграет новыми красками? какая разница? — ты все равно никогда не узнаешь, что такое тот или иной человек в действительности, да и где эта так называемая действительность, а тут ты напялишь на него какой-нибудь образ, маскарадный костюм, какой в голову придет, как будто бы поверишь в него, да станешь соответственно к нему относиться. Ну и что, что поверишь не до конца? По-настоящему, значит, поверишь, а не от одной безотчетности и слепой страсти, — куда же без сомнения? Взять, к примеру, этого буяна — кого он напоминает, чье имя или прозвище рвется с языка, вернее, со слипшихся страниц канцелярского сердечка? Уж не карлика ли из «Лавки древностей»? А почему нет? Рост не подходящий? А хоть бы и так! Пусть будет он. А тот, что лежит, заслонив лицо, на второй полке, вот этот незаурядный? Тут как-то посложнее, никто на ум так сразу и не идет... Неужто Жильят из «Тружеников моря»? Уж как-то не сходится: Жильят вроде вон какой положительный персонаж, а этот... угрюм-вода. А почему знать, может, этот и куда положительнее выйдет еще. Или все-таки тот, как же его звали-то, роковой из «Гертруды» Германа Гессе? Запомнил Данька его имя. Явно ведь что-то на «Г». Точно: Генрихом его величали-то! Так и будем его дальше звать про себя, этого случайного встречного, возбудившего любопытство и приковавшего внимание Даньки. Меж тем наш новонареченный Генрих тоже успел приметить существование Даньки и даже будто бы им раздражиться. Тяжелым пристальным взглядом из-под навеса тени оцарапал он Данькино лицо и тело — словно хотел тут же с ходу что-то смахнуть, соскоблить или иссечь. Даньке, почувствовавшему на себе этот скребущий, недоброжелательный, презрительный взгляд, стало не по себе. Что Генриху было до аморфного, студенистого, бесцветного Даниила? Все очень просто: Генрих, руководству-

ющийся инстинктом, безошибочно, с первого взгляда, как хищник, как охотник, учуял и разглядел в Даньке скрываемый страх — страх жертвы. Дело было не в повадках даже, не в неуклюжих движениях, зажатости, дерганости и рассеянности — то всего лишь внешние проявления реакции нервной системы, а именно в том страхе, который подрагивал, как пламя свечи, в незамутненном распахнутом взгляде. Какой-то мелкий, зернистый, не определившийся с причиной своего возникновения страх жизни из-за страха смерти. Страх животный, забившийся во все поры Даниила, тот самый страх, которого не ведал непроницаемый Генрих. Проницательному Генриху впору бы остаться безразличным к Даньке, обойти его своим вниманием. Так бы оно и было, если бы не одно обстоятельство: он-то мгновенно распознал причину страха, и эта причина задевала его за самое нутро. Причина незатейлива, заключена она в существовании чего-то, в обладании чем-то. В обладании тем, что можно потерять, за что хотелось цепляться. У этого неуклюжего, нелепого, ссутулившегося, с хронически простуженной душой человека, то бишь у Даньки, в глазах Генриха, что-то было, что-то такое драгоценное, но что он забыл, куда положил, или о чем просто забыл, хоть оно и выставлено на всеобщее обозрение. У Генриха ничего подобного не было. И он это знал, хотя и редко ощущал. В нем шевельнулась безотчетная зависть. Да-да, в Генрихе, в том самом персонаже, которому должны были быть чужды подобные паразиты психики или души. Он никогда ничего не терял, потому что было нечего, а ощутить пустоту от недостатка чего-то, чего у тебя никогда не было, не так-то просто. Справедливый вопрос: а разве так бывает, чтобы совсем уж нечего было терять, разве может у человека совсем ничего не быть? В конце концов, у него есть он сам, его жизнь, его душа, устремления, возможности, о которых он даже не подозревает. Но все это сплошь такие категории, которые часто не ценятся, принимаются за безусловную данность, которой как будто бы нельзя лишиться. Вот на обозрение небрежная калька с жизни Генриха.

* * *

Молодому человеку двадцать семь лет от роду. Его матери было двадцать семь лет, когда она его родила. Сейчас у него ни отца, ни матери. Их на его памяти у него не было никогда. Но когда они физически существовали, будущий отец преподавал физику в институте, будущая мать рисовала картины в свое удовольствие и на заказ. Еще сохранились слухи, что они были замечательной, прямо-таки идиллической парой. Отставим выяснения того, что заставило людей прийти к такому выводу. Однозначно то, чего, кроме его родителей, никто не знал: его мать никогда не хотела его рождения. Ничего особенного — Бог просто обделил ее материнским инстинктом, либо он не успел созреть или пробудиться. Но будучи уверена в чувствах своего супруга и прислушиваясь к словам людей, безотносительно ее самой бездумно рассеивающим ее робко выражаемые сомнения в готовности стать матерью, — мол, все придет само собою, когда ребеночка уж понесешь (ох уж эти толки всезнаек!), она, чувствуя и подавляя в себе сопротивление навязываемому отношению, переступила через себя и решилась зачать. Вскоре сила советов, увещаний и заверений рассыпалась в прах, как будто ее и не бывало, все стало предельно ясно, внутренний голос больше не мямлил. Винить было некого. Призвания, предназначения себя как женщины она не нашла, предвкушение чуда не снизошло на нее, простертой длани господней над своей головой не осязалось. Но дело было сделано: в ее силах было соблюсти формальности, внушить себе и окружающим рассудочное чувство к будущему живому существу как к некой вещи, драгоценности, принадлежащей на праве собственности, требующей ответствен-

ного и бережливого отношения. Наедине с собой она признавала, что совершила непоправимую ошибку, заглушив свои чувства и не внемля своему разуму. Она сожалела, глубоко сожалела о своем решении и чувствовала себя виноватой перед неродившимся ребенком. Чувство вины росло вместе с плодом и сжирало ее изнутри. Она зывала к своему сердцу, просила у него любви — оно оставалось черство, она искала поддержки у разума — ему было нечего предложить; отчаявшись, обращалась тихо и стыдливо к Богу — такие молитвы к нему воздевают редко. Тревога, навевная чувствами и мыслями, в плену которых она находилась, которых бежала, от которых пыталась отгородиться, стоило ей едва осесть мутным осадком в душу, как нечаянное слово, случайное сочетание знаков или звуков, неловкий жест или взгляд разворачивали и взметали ее, как язык пламени, и жгли нутро. Допустить, что испытываемое ею беспокойство и есть то самое материнское чувство, глубиной и оттенками которого остальным и в голову не приходит гнушаться, она не могла. Нет, что-то столь эгоистичное, циничное, грубое, животное и при том церемонное не имело права быть причисленным к чему-то сродни чуду. Она кляла и клеймила себя за то, что было не в ее силах, не в ее власти. Это был ее изъян, несостоятельность, порок, грех. И она не умела себя обмануть, что его можно искупить. Одна, стойко и молчаливо, безропотно и смиренно, скрывала она ото всех свою неподъемную ношу. И все же всему есть свой предел: немного погодя внутренние терзания стали пробиваться наружу. Стесняемые и сдерживаемые, клокочущие и обуздываемые, свой исход они находили в подавленности, болезненности и бессилии своей хозяйки и рабы. Супруг глядел на свою спутницу и почти все угадывал и понимал, но ничего не мог изменить. Утомленный и как будто немного укоризненный взгляд, проглоченное слово, вырвавшийся из груди вздох заставляли его мучиться не меньше ее. «Отчего же я не послушался ее, отчего позволил послушаться меня?» — горестно вопрошал он, продолжая горячо желать ребенка, загодя заключая в его жизни смысл жизни своей. Меж тем срок подходил. Она ослабевала, таяла и истлевала, словно свеча, но храбрилась, как будто собиралась с духом, и ни на что не жаловалась. Все формальности были соблюдены: множество книжек прочитано вслух, Чайковский, Моцарт, Вивальди, Гендель, Бах влиты в уши в неудобоваримых порциях, пройдены курсы для будущих родителей и прочее, прочее. Все — для того, чтобы хоть на грамм уменьшить груз вины.

Бог оставался глух, зато плод, похоже, учуял фальшь в тех неумных и судорожных усилиях, которые мать прилагала, чтобы заставить себя любить. Этот маленький человечек оказался более жестоким, чем сам Бог, он толкался, ворочался, вызывал тошноту, рвоту и открывал кровотечение, по нескольку дней кряду не давал есть и спать, в общем, он изо всех сил заявлял о знании того, что от него скрывали, и нещадно мстил. Лицо будущей роженицы осунулось, она исхудала, хотя и без того была хрупка и тщедушна, измотана настолько, что не могла и пятнадцати минут продержаться на ногах, чтобы у нее не закружилась голова. Муж смотрел на жену уже с нескрываемым ужасом: ему было страшно за нее, он уже что-то предчувствовал, время замедляло свой ход, становилось пластичным и таким осязаемым, как будто легкой кошачьей поступью касалось человеческого тела. Зачаток, зародыш, семя заключало в себе столько же желаний и стремления к жизни, сколько и к смерти. Он испускал яд в ответ на вину своей матери. Он питался ее соками, а оттого и сам поглощал этот яд. В конце концов они умерщвляли друг друга.

Когда в назначенный час встал вопрос: ребенок или она, она без колебаний выбрала его жизнь. Супруг хотел было воспротивиться ее воле, но сдался. Наконец она избавилась от своего бремени и, умиротворенная, без сожалений, стонов, вздохов и слез,

покинула земную обитель. Возможно, ей принесло это облегчение. Она ушла, не будучи в силах оправдать свою нелюбовь, но не надеясь заслужить прощение, — его нельзя было заслужить: она ни в чем не была виновата. Она ушла, а ее муж, ставший отцом, едва взглянув на малыша, в отчаянии, заслонив лицо рукой, сдерживая разрывающие грудь рыдания, поспешил удалиться, проклиная ребенка, называя его монстром, обвиняя его в загубленной жизни своей благоверной.

Ребенка отдали в детский дом. Лет в пять мальчик услышал про себя, что он — убийца.

— Смотри, вон идет, — бесстыдно показывали на него пальцем подростки, вторили им и детишки чуть старше его самого. — Говорят, он убил свою мать. Вот с..., свою собственную мать сбыл на тот свет!

За Генрихом закрепилось это прозвище — «убийца». Хотя ему не было понятно, что значили слова ребят и кого он мог убить (таракана, муху, лягушку?) — он ничего не помнил. Да и зачем ему могло понадобиться кого-то убивать, уж тем более собственную мать? Он же об этом даже ни разу еще не задумывался. Да и мог ли он, даже если бы ему в голову закралась такая мысль? Он был еще слишком мал и слаб. Его обижали, его поколачивали и унижали, бывало, окунали головой в ведро с грязной водой после мытья пола, пинали в грудь, заставляли курить, а он задыхался от кашля, надевали на голову мешок, совали в нос и в рот клей «Момент», вынуждали воровать, отдавать свои обеды и ужины, методично лишали сна, прижигая руки непотушенными окурками, обливая водой, щипля, коля иголками, связывая руки и ноги так, что ему приходилось скорчиваться в такую позу, в которой от боли невозможно уснуть. Но так было не только с ним, так было со многими, это было обыкновение, данность, неотъемлемая часть жизни, на которую бесполезно было сетовать. Оставалось лишь приспособливаться и набираться сил. Все перечисленные плоды изобретательности, измывательства и ухищрения вызывали злость, раздражение и возмущение, но не мысли о смерти и убийстве — чужой или своей, напротив, они возбуждали желание борьбы за жизнь.

Сколько бы раз его ни сбивали с ног и ни придавливали к земле, как слизняка, как отброс, как гниль, он непременно поднимался, чем лишь сильнее разъярял своих измывателей, получал еще более хлесткие удары и оплеухи, но все равно вставал. Неужели ему не было больно, неужели ему не хотелось поскорее прекратить нападки, зализать раны и забиться подальше, чтобы не попадаться на глаза своим обидчикам? Зачем он их растравливал, зачем дразнил их, подначивал к новым атакам, зазря хвастался своей необоримостью и не сдавался? Ему было больно до той степени, что он почти переставал ощущать боль, ему было гадко и мерзко где-то в области желудка и выше, а еще где-то там, снаружи, там, где он будто бы смотрел на себя со стороны. Но он слишком рано понял, а может, это понимание было впрыснуто ему в кровь, вобрано не с молоком матери, но с последним ее вдохом втянуто в легкие: если не встать один раз, спасовать перед собственными страхами, то в следующий раз ты уже с убогим, низменным удовольствием будешь валяться в ногах других, власть и силу предающих, а Генрих ни за что не хотел быть пораженным. Отчего же он тогда не давал сдачи — был слишком хил? Не без этого — он был слабее своих так называемых старших товарищей, а ровесники не слишком-то сами по себе покушались на его спокойствие, они лишь пресмыкались и действовали по указке старших ребят, как будто чувявших угрозу в неокрепшем ростке, как будто желавших сломать стебель, пока он еще был хрупок и не обзавелся шипами. Как бы то ни было, Генрих сам себя подвел к осознанию того, что боль не есть плохо, что боль можно и нужно преодолеть, что

можно стать для нее неуязвимым, но для этого требуется принять ее сполна, с избытком, приноровив к ней свое тело и закалив свой дух.

Чем дальше, тем легче Генриху было сносить побои и издевки; его психика и тело постепенно натренировывались, приспосабливались к оказываемому воздействию; оружию, обращенному против себя, он позволял вонзаться в свое тело, вынимал его, филигранно обтачивал и складывал про запас. Он рос и креп, он научился амортизировать удары и при этом снизил чувствительность своего организма и сознания. Бесстрашие, выдержка и развитый высокий болевой порог позволили Генриху овладеть различными техниками боевых искусств (ничего конкретного, смешение разных элементов, черпаемых из наблюдения и практики), и желающих продемонстрировать свое превосходство поубавилось. С ним стали считаться, уважать, прислушиваться, находилось немало тех — в том числе и строптивых, — кто был готов следовать за ним и исполнять его волю. Причиной тому явилась не одна лишь физическая выносливость, но и холодный и трезвый ум, немногословность, невозмутимость и даже внешнее обаяние — оно не так уж маловажно для мужчин. Генрих обладал незаурядной внешностью: по отдельности черты его не были канонически правильными, но в сочетании друг с другом смотрелись гармонично и притягательно; к тому же (мы это ранее отмечали) в нем были заложены природная грациозность и изящество: каждый его жест, каждое движение умели оказывать некое гипнотическое действие, наделяя их значительностью, зачаровывая, внушая доверие и убеждая в правоте речей и поступков, которые они сопровождали.

У Генриха не было Бога, и не было у него дьявола. При этом он не взялся бы отрицать существование ни того, ни другого. Они его просто не заботили. Они были сами по себе, он сам по себе, этого более чем достаточно, чтобы не требовать друг от друга удостоверения личности.

При этом извечный философский вопрос «Зачем жить?» его либо не посещал вовсе, либо Генриху удавалось представить себе более-менее устраивавший его ответ. Был другой вопрос, который смущал и ставил в тупик вострый, пытливый, четкий и последовательный ум юноши: «Зачем он убил?», а сомневаться в том, что он убил, ему не приходилось. Но ради чего, ведь он даже мотива не мог не то что узреть, а даже выдумать. Для чего ему нужно было быть клейменным прозвищем «убийца матери»? Чтобы искупить свою вину? Но зачем ее, вину, стоило допускать? Чтобы искупить ее вину (да и знал ли он, чувствовал ли, в чем была ее вина)? Но к чему была и ее вина? Его ум долго плутал вокруг этих вопросов, следовал к новым вопросам, уводил в сторону, заманивал в ловушки, давал иллюзорные ответы, но не более того. Лишь изредка Генриха посещало смутное ощущение того, что он почти добрался, почти почувствовал зыбкую «свою» истину, с которой готов примириться и жить, но тут же поскальзывался и выпускал это свое ощущение, как наутро забывается сон, который несколько секунд неизмеримой пропастью отъединял нас от реальности.

Сон... Ему часто виделся один и тот же кошмар: что вот он, в утробе матери, будучи скукоженным, смятым, как кишка, и находясь вверх тормашками, вдруг вытягивается во весь рост, переворачивается и проталкивается вверх, к горлу, хватая его своими тонкими ручонками и начинает душить, злостно, остервенело, изо всех сил. Бедняжка же, его мать, читавшая ему, Генриху, какую-то очередную сказку, начинает задыхаться, выпускает из рук книгу, хватается за горло как раз в том месте, где, как тиски, изнутри сжимает своими пальчиками, торчащими маленькими отростками из рук, напоминающих скрученные плети, маленький Генрих. Руки матери накрывают руки ребенка... и помогают им задушить ее. Но от этого Генрих, будучи единым

целым со своей матерью, начинает задыхаться сам. В ней одной их жизнь на двоих. В нем одном ее смерть. Он ужасно хочет ее убить и прилагает к тому все свои силы. Лицо его во сне осеняется улыбкой, невинной и блаженной, как у младенца.

В этот миг он знал, за что желал своей матери смерти. Нет, не за то, что она его не любит, не за то, что она его не хочет произвести на свет, а за то, что она хочет его полюбить и родить — вот чего он не мог ни перенести, ни простить. Кто-нибудь спросил его, хочет ли он родиться, кто-нибудь позволил ему распорядиться своей судьбой? Ах, он ведь знал, что его мать испытывала чувство вины не за то, за что на самом деле была виновата. Нелюбовь к будущему сыну? При чем тут это?! Зачать его, дать жизнь — вот что было преступлением! Перед ребенком, перед людьми, перед Богом? Нет, нет и нет! Перед собой, перед своей верой, перед искусством, к которому была приобщена, перед голосами, канувшими в трясину бесконечности, перед памфлетами и гробами, перед своей жизнью и смертью. Перед дорогими сердцу людьми, перед воспоминаниями и пережитой болью. Это было насмешкой, пощечиной и надругательством над ними. Это было предательством, которое ей было не снести. Это было покорение и смирение, капитуляция перед пошлостью. Вот чего она не могла и не хотела пережить, вот что обглодало ее изнутри. Вот что ее убило и спасло от самой себя. И Генрих это знал: она оставила его одного с этим знанием. Она не была его началом, а он не был ее продолжением, но оба они оказались вместилищем одной идеи. Герман Гессе без отчаяния, почти что в лучах солнца и радужного сияния, ну может быть, проглядывающих через гряду туч и изумрудную крону деревьев, изрек в «Душе ребенка» утешительные слова: «Умереть вообще было лучше, чем жить!» Так нерожденное дитя обвело вокруг пальца самого Господа Бога.

* * *

За окном безостановочно мелькали отшлифованные, не цепляющиеся за сознание кадры. Они набегали друг на друга, схлестывались и рассеивались в зыбкой дымке, а потом вдруг прояснялись и оттеняли друг друга, контрастируя и фона друг другу. То тоненькие березки торчали из проталин-пробоин земли, подобно сигаретным окуркам, дотлевающим на поле боя. То вдоль кромки соляных вод серебрищегося змеиной чешуей озера или речки лежали перевернутые вверх днищем лодки, будто брошенные гробы. Темные длинные стройные ели, густым рядом тянущиеся вдоль крутых берегов, ровных полей, дорожных насыпей, буравящие небо и сбегające с холмов, представляли в непрозрачном целлофановом сознании безглазыми рыбьими скелетами, драконьими хвостами, воткнутыми наточенными карандашами.

Ни одного повторного дубля, никаких клише. Неизменно повсюду тянулись лишь электрические провода — коллинеарные вектора, чернее ночи, они делили мрак на части, подпоясывая облака, плывущие по невидимому конвейеру тучными рыхлыми мешками. Прозрачный бисер дождя, задержавшись на доли секунд, осыпался с тонких лесок, а кое-где на эти рельсы, проложенные меж небом и землей, нанизывался инеем мраморный снег. Но и их видно все хуже и хуже: неспешно сползали сумерки, и картины становились все более фантазмагоричными. Потусторонность за вагонной мембраной вся была размечена насечками — железобетонными опорами линий электропередач. В движении столбы подпрыгивали и оседали, провода утончались и утолщались, вились и сучились нитями меж веретен. И так это было прекрасно и завораживающе, что хотелось, чтобы это маленькое шарлатанство, проворачиваемое с восприятием, длилось подольше. Данька приникал к окну все ближе и, не поспевая за движением,

весьма охотно позволял пестрой мазне предметов обманывать себя, ведь это так увлекательно: наблюдать не за живыми существами, тщаясь доказать свою значимость, горделивыми и бессильными, а за тенями во всех своих оттенках, ненароком кипящими своей неподдельной властью — над сознанием, людьми, землей, повисшей пустотой. Время текло размеренно, как река, необратимо вспять, разливалось и распрямлялось, как пружина, стремилось замкнуть очередное завихрение, как будто жаждало конца, но не умело его достать, или в очередной раз проскакивало намеченное на разметке деление, как вагон мимо станции.

Толстое вагонное стекло отгораживало Даньку от антрацитового вечера, предваряющего темную безлунную ночь, в котором постепенно увязали вся природа и плоды человеческих ухищрений. В ослепительные краски, мерцание и сияние, в игру света и тени вгрызалось большое темное бесформенное чудовище, оно пожирало, как гусеница, все на своем пути, обращая живописный пейзаж в набросок простым карандашом. Даниил то вглядывался в чернь, как в непроявленный негатив, кое-где различал дома, еще лоснящиеся озера и реки, покосившиеся заборы, кресты и ограды на кладбищах, леса и поля — все такое мрачное, притихшее и заговорщически перешептывающееся, такое живое и живучее, будто осыпанное щепоткой ворожбы; то фокусировался на самом стекле, на отражении в нем, таком близком, неподвижном, но каком-то неубедительном, нарисованном и тягучем, выливающимся, расплескивающимся из самого себя.

Но вот в вагоне зажегся тусклый желтый свет, и все, что было за окном, обляпанное этим желтым светом, лишилось контуров, отступило в глубь пустых глазниц ночи, а потом резко провалилось в чью-то невидимую глотку. Осталась внутренность, тесная полость вагона, напичканная телами, испарениями, вздохами, зевками, копошением, скукой, надеждой, ожиданием и разочарованием. Тени и блики огней плясали, вертелись, качались и полосовали замкнутое пространство. Дождь и снег продолжали хлестать стекло, подстегивая состав бежать быстрее. Взгляд, так упрямо блуждающий в потемках, вынужден был обратиться вспять и, угасший, понурый, вернуться к созерцанию и изучению потрохов настоящего, разлагающейся и размножающейся, как плесень, действительности. Явь напирала, придвигаясь все плотнее, не задавая вопросов, алкала лести, внимания, убажания и раболепия.

И все же она не была всемогуща и всевластна: Данька с трудом вспомнил бы, что происходило с ним вчера, неделю, месяц назад — наверное, оттого, что с ним ничего не происходило. Встреча, знакомство, неприятность, маленькая радость, приобретение и утрата, новость или ожидаемое событие — ничто не находило в нем отклика, все либо проходило по касательной, либо рикошетило, едва задевая за живое, не поглощаясь памятью, не отливаясь в переживание. Все было серое, пресное, тусклое, суетное, незначительное, но отнимающее энергию, отщепляющее плоть времени. Каждый день, независимо от того, каким ворохом проблем оказывался приправленным, возбуждал волю лишь одним пассивным желанием — поскорее разрешиться от бремени этого дня, так же как и ему предшествовавшего, так же как и за ним следующего, — лишь бы побыстрее пропустить, размолоть, развеять его отупляющую бессмысленность. Ни единого свежего впечатления, ни единого впечатления вообще. Поскорей бы ночь, поскорей бы уснуть... или проснуться.

Иначе дело обстояло с воспоминаниями о детстве и раннем юношестве, свисающими, как спелые, налитые соком плоды, с ветвей молодого еще и сильного дерева памяти, готовыми выпасть из согнутых кистей предопределенности и кануть в ее разверстой бездне. То были горькие плоды, солоноватые от слез, жесткие от сумрака, с сердце-

виной, увитой червивым клубком. И все же это было самое драгоценное из всего, чем владел Даниил. Это были всполохи северного сияния, лишь однажды озарившего для Даньки ночное небо Заполярья.

Именно там, за полярным кругом, на самом краю света, двадцать три года назад Данька звучным криком и плачем возвестил землю о своем пришествии. Говоря откровенно, место за Сивой Маской годилось больше на то, чтобы умирать, а не рождаться. Большинство было согнано в эти места именно для встречи со смертью. Будто она сама была сослана сюда. И все же люди здесь рождались, не по своей воле они пускали корни в вечной мерзлоте, заключившей в свои цепкие объятия человеческие судьбы.

Здесь практически все живут временно. Временно живут детство и отрочество; временно живут юность, молодые и зрелые годы, временно живут и выходят здесь на пенсию, находят свое последнее пристанище. Настоящая жизнь, представляемая на пышущей зелены, плодородной, колосающейся рожью и пшеницей, усеянной ягодами и душистыми травами, залитой солнечным теплом, дышащей благодатью, давно покинутой родине, беспрестанно откладывалась и отсрочивалась, чему в угоду и оправданием служила то одна, то другая необходимость, на поверку оказывающаяся нежеланием и неспособностью вести иное существование, кроме того, которое было однажды принято или насажено в этой суровой местности. Понаехавшие из так называемой средней полосы, из бывших социалистических республик, из деревень и небольших городов, русские, украинцы, татары, белорусы, удмурты, марийцы и т. д. и т. д. — все они стеклись сюда, поведясь на сулимые достойный заработок, собственное жилье, социальные привилегии и льготы, более-менее доступные дефицитные товары: те же ковры, массивные темные шкафы-стенки, диваны, стиральные машинки, посуда и прочее. И как ни странно, люди действительно все это получали: от приличной зарплаты до квартиры с ремонтом в новом доме, от трюмо до швейных машинок, от экзотических для того времени бананов до натуральной черной икры, от новогодних утренников до путевок в лучшие лагеря для детей. Не сказка ли? А в придачу к тому романтика северного края: жизнь в паре сотне километров от Северного Ледовитого океана! Сказка! Темная, мрачная, промозглая, усыпляющая сказка. Непроходимые болота, истлевшая земля, каменное небо, горстка солнечного света, от которого тепла не больше, чем от лунного мерцания, беспощадный ветер, всеядная ржавчина, сползающая от колючей проволоки лагерей для сосланных сюда со всего света заключенных и разбегающаяся по равнинам и многочисленным оврагам, взбегающая на холмы и пригорки, забивающаяся в теснины и расщелины. «Заполярная кочегарка» — это горнило, приоткрытая дверь в ад, дорога к которому вымощена эзками, ходы которого протоптаны не кротами. Ад — это забой, это вспоротое сердце дьявола, которое нещадно и остервенело, с риском для собственной жизни, дробят кирками, выколупывая уголь, шахтеры, чтобы, измазавшись дочерна, выдать его на-гора и обогатить вместе с горсткой людей, паразитирующих на чужом труде. Но город существует лишь благодаря этим лазам, этим искусственным кишкам, а эти паразиты — залог прозябания простых рабочих, но большего это место никогда не сулило.

Тогда Данька еще не знал, что родился в городе, у которого нет будущего, время которого, подобно времени Бенджамина Баттона, идет лишь вспять. Горька судьба такого города, расцветшего в младенчестве и пожухшего, едва ступив шаг из юности. Но завидней ли судьба человека, обреченного жить одними лишь воспоминаниями, из которых не выжать и капли меда?..

Здесь не было роскоши и изысков, но все свидетельствовало о том, что хозяева — люди работающие и способные себя обеспечить. Отец мальчика — шахтер, мать — простая рабочая на молокозаводе. Каждая копейка добывалась тяжелым и упорным тру-

дом, но ощущения несправедливости в материальном отношении эти люди не испытывали: так трудилось большинство, многие зарабатывали меньше, кто-то даже не мог найти работу, а богатых в те времена было мало, да и существовали они где-то в параллельной вселенной — как минимум, в столице республики. Завидовать было некому и нечему, все жили примерно в равных условиях и, в общем-то, были довольны, в общем-то, можно было дотянуться до простого человеческого счастья. Но так продолжалось совсем недолго после распада Советского Союза. Это замечание лишь постольку-поскольку... Не будем отклоняться от повествования и касаться того, что и так запечатлено, осмыслено и проанализировано историками, политологами, иными сведущими и не очень людьми, нас интересует лишь то, что непосредственно настигло и коснулось нашего героя.

Итак, отец Даньки работал на шахте, был шахтером, спускался в забой и большую часть своей жизни проводил там, уходил из дома он до рассвета, возвращался домой поздно, уставший, угрюмый и молчаливый. Он работал и по выходным, сыну уделял крайне мало времени. Чаще всего у него не оставалось сил даже на то, чтобы просто с ним поговорить. И вряд ли отец чувствовал перед сыном вину, ведь что он еще мог? Он работал и зарабатывал деньги, приносил их домой и тем самым обеспечивал всю семью. Пожалуй, глава семейства даже гордился собой. Каждый день он на совесть делал, что умел и мог, и получал от этого какое-никакое удовлетворение. Его не посещало желание что-либо кардинально изменить, все силы направлялись на поддержание того, что есть. Не поднималась в нем волна возмущения против своего работодателя, не казалось ему, что труд его невыносим, не глодала его мысль о том, что он всего лишь раб, подчиненный и эксплуатируемый до полного износа, что мало чем отличается от скотины. Ему некогда было думать о понятиях справедливости и смысла жизни, некогда рассуждать о психологии, установлении отношений, некогда заботиться о душевном здоровье своих домочадцев. В конце концов, когда его растили, никто ведь ни о чем таком не задумывался в его отношении — и ничего, как-то вырос, окреп, создал свою семью. Ничто не вынуждало остановиться, оглянуться на свою жизнь и, окинув ее взглядом, ощутить в сердце ноющую тоску. Он неукоснительно и тупо исполнял долг перед обществом и перед семьей, а что такое долг перед собой, ему не было ведомо. Да и кому это ведомо...

Велико желание все скомкать, процедить сквозь зубы пару непонятных фраз и умчаться прочь от детских лет Даньки.

Отец и мать возвращались домой с работы, и все, что они делали, — молчали, ужинали, мыли посуду, смотрели телевизор и молчали, расстилали постель и молчали. Когда кто-нибудь из них или оба бывали не угнетены, а раздражены и не знали, куда себя деть, то назревал и закатывался добротный скандал. Он зарождался, как буря. Неделями, реже — месяцами накапливался капля за каплей в грозových тучах, витал в воздухе пучками напряжения, ища исхода, трепетал, как передавленная струя, вибрировал, как сжатая пружина, и наконец разражался, обрушивался с ревом, стоном, самозабвением, стараясь изойти до последнего предела. Для этой стихии, безудержного порыва, гнева, напора всегда находилась какая-то причина. Она всегда была ужасно мелочна, непонятна и несуразна; это мог быть нечаянный вздох, взгляд исподлобья, оброненное слово или затянувшаяся пауза, недосоленный суп или разлитый по неосторожности чай, это мог быть даже чуть более веселый, чем подобало конкретному вечеру, тон Даньки.

Данька, несмотря на свое малолетство, отводил грозу, как мог, стараясь увлечь родителей своими рассказами ни о чем, заполняя набухшую от напряжения тишину —

предвестника скорой завязки и непременно последующей за ней кульминации. Обо-зленные и заочно униженные друг другом, они сыпали взаимными оскорблениями, хлестали друг друга словами, винили в сложившихся жизненных обстоятельствах, попрекали в чужих словах и выпавшем за окном снеге. Извечная тема нехватки де-нег, купленная без обсуждения вещь, задержка на работе, тарелка недоеденного супа, длинный телефонный разговор, отправленная в деревню родственникам посылка — всего не перечесать, что упоминалось в этих баталиях. Нет, не могло быть правдой, чтобы мелочь, такая незначительность, воспламеняла тот костер страстей, должно было быть что-то еще, веское, обозначившееся при первом взрыве, трещине, надло-ме, вторгшееся в отношения супругов, болезненное и постоянно саднящее, чтобы из-бегать наименования самого предмета. Наверняка все последующие ссоры были лишь продолжением той первой, некогда случившейся и не изжившей себя до конца. Иначе нельзя было объяснить ненависть, озлобленность, неистовство и презрение, с каки-ми два нечужих человека обрушивались друг на друга. В расщелине вулкана неугаса-ющих страстей был зажат Данька. Его ум не мог постичь, взять в толк, отчего те, кого он любил, вдруг обращались во врагов и осыпали друг друга градом острых, колючих, переворачивающих душу слов-лезвий, слов-клинков, оставляющих незаживающие раны. Тогда еще Данька не был способен обижаться за себя, а ведь ему приходилось тяжелее всего; он больше всего хотел, чтобы родители поскорее помирились. Он еще не таил обиды, не восставал против свершавшейся с ним несправедливости, не грозил кому-то невидимому кулачком, смеряя его презрительным взглядом.

Едва смолкали голоса, едва кончалась тирада тяжелых вздохов, едва наступало за-тишье, как в душе ребенка вновь загоралась крошечная надежда на то, что мир, лад, спокойствие, пускай вызванные лишь усталостью, где-то уже рядом, готовы устано-виться, что вот забрезжил свет, неистовствовавшая стихия отступила, что вот-вот раз-глядятся грозные складки на родных лицах, вот-вот отпустит их судорога боли и не-нависти, как рано или поздно буря, шторм, пурга отпускают море или снежную пусты-ню, перестают их вздымать и всклокочивать, позволяют отдаться собственному ритму, безмятежности и бездеятельности.

* * *

Недополучая внимание от своих родителей, не чувствуя в них надежной опоры, теряя уверенность в самом себе, мальчик искал пути завоевания прочных позиций, придания значимости собственной личности, становления и избавления от чувства бесполезности. В силу своего возраста и отсутствия наставника он, озираясь, натыкал-ся лишь на то, что было вне его, то, что ценилось и навязывалось обществом: социаль-ные статусы, деньги, власть, первенство в любой сфере. Все перечисленное слишком рано стало занимать развитой и пытливым ум. И в общем-то, это не было страшно, да-леко было до нарциссизма и тщеславия. Чудный, спокойный, терпеливый, серьезный ребенок, понимающий многое с первого слова, а иногда — и намек, он был смыш-лен, усидчив, вежлив и предупредителен со взрослыми. Хуже дело обстояло с ровес-никами — ему было тяжело найти с ними общие темы, да и большинства из них он стеснялся. И понятное дело, что тот, кого всегда ставят в пример — а Данька был тем, кого ставили в пример, — не бывает симпатичен тем, кому ставят в пример. Даньку легко было чем-нибудь занять — достаточно было дать раскраски, бумагу, ножни-цы, краски и карандаши и быть уверенным в том, что ни с ним, ни с домом, ни с окру-жающими ничего худого не произойдет. Неуверенность в себе вынуждала мальчи-

ка внимательно следить за реакцией взрослых, выбирать и придерживаться той модели поведения, которая помогла бы ему заполучить их расположение и одобрение. В этом он преуспевал — взрослые обожали его, выделяли при всяком удобном случае. Данька представлял собой живое воплощение беспроблемного ребенка. Все в маленьком Данииле располагало к нему, все играло ему на руку, но только в отношении с посторонними взрослыми людьми. Дети его сторонились, родители не отмечали похвалой. Между тем он слушался и выполнял все наказания воспитателей и нянечек беспрекословно, прилагал огромные усилия, чтобы все сделать в лучшем виде, проявлял старательность и прилежность, не свойственные своему возрасту. Никто их от него не требовал, никто его им и не учил. То же самое продолжилось затем и в школе. С первого своего дня в ней он знал, для чего в ней находится, что от нее может и должен получить. Он рьяно учился, впитывая все, что старались вложить преподаватели, не задумываясь над тем, пригодится ли ему то или иное знание в дальнейшем, обогатит ли его, будет ли приложимо к практической жизни. Главное — быть первым в настоящем моменте, в каждом настоящем моменте. Он был лучшим почти во всем. Где-то этому способствовали природные дарования и наклонности, где-то он брал упорством и трудом. Он чувствовал, видел и знал, что силен не во всех предметах, находил, что есть более одаренные в математике, более одаренные в биологии, более способные к языкам, более талантливые, более искусные, но стремился к вершинам, несмотря ни на что, и обходил их, превосходил, перепрыгивал, как планки на своем пути. Да, он завидовал, дико завидовал, наблюдая в других зачатки таланта, зачатки нестандартного мышления, зачатки непокорности и волеизъявления. Его самого манило непонятливое, особенное, непривычное, а порой и отвергаемое, но эта тяга пока не была до конца осмыслена, она подавлялась как нечто ненужное и отвлекающее от цели. Он считал, что должен смотреть по сторонам только для того, чтобы не позволить кому-нибудь вырваться вперед. При всем этом он не являл собой образчик высокомерного и задиристого мальчугана, готового осмеять любую оплошность другого. Но и это не способствовало заведению настоящих друзей. И не вменить это в вину окружающих — он сам не умел дружить, как и большинство его сверстников. Совсем одиноким Даниил тоже не бывал: к нему прибивались, ища своей выгоды, то одни, то другие ребята, но ненадолго, он чувствовал их неискренность, замыкался в себе и сводил общение на нет. Никто и не пытался рядом с ним удержаться; он не имел столь естественной в определенном возрасте потребности заявить о себе посредством нарушения запретов: не хулиганил, не пакостил, не пропускал занятия, не слонялся по подъездам, не пробовал курить, ни над кем не издевался — в общем, прескучнейший тип. Все, чем было наполнено время нашего героя, — это учеба, зубрежка, решение задач и... мечты. Мечты о том, что когда-нибудь он сможет вырваться из этой кабалы, в которую сам себя загнал. Он учился не для того, чтобы учиться всегда, познавать и развиваться непрерывно, — по крайней мере, не для того, чтобы учиться тому, чему учился и уж точно не подобным образом. Учеба была лишь средством, орудием в достижении цели. Ему необходимо было самоутверждаться, доказывать себе свою значимость, опровергать свою ничтожность. Скучно, не правда ли? Скучно об этом читать, скучно, по правде, даже повествовать об этом. И еще, конечно, жалко: жалко мальчугана, так рано впрягшегося во взрослое поприще (взрослое ли, сознательное ли? — разве не глупое?) — достигаторство.

Признаться, Даниил не испытывал никакого удовольствия от вечной учебы, он тяготился ею и даже был в какой-то степени (в какой он мог себе позволить) отстранен от нее. Сердце его было глухо к знаниям, которыми он пичкал свой ум. Оно не би-

лось быстрее, ну разве что от страха не сдать плохо выученный урок. Да и знания эти ему хотелось засунуть поглубже в память, чтобы те не беспокоили его. Настоящего интереса, задорного и страстного, неумного, вовлеченности и любопытства по отношению к тому, что ему преподавали, не ощущал. Учеба была трудом, почти что конвейерным, почти что вынужденным, выполняемым добросовестно, но без нужного горячего чувства. Она сильно напоминала повинность, которую непременно надо отбыть. Хотя было нечто, что доставляло ему удовлетворение, но не удовольствие — это удовлетворение преодоления. Решенная задача, безошибочно написанный текст, гармоничный рисунок, выведенная (пусть и не самим с первого разу) формула, численное выражение необъятного, законы, действующие исключительно в отсутствие силы трения, — все это занимало ум, укрепляло его позиции, позволяло опираться на него, заблуждаться, следуя его выкладкам, — он прикладывал немалые усилия к тому, чтобы замаскировать свое бессилие.

Даниил знал, что он хуже других. Более того, он это чувствовал. Но никто об этом не должен был догадаться. Это надо было скрыть. По возможности — и от самого себя. Его надзиратель и конвоир — страх. Страх подавлял его, душил, повелевал им. Он был практически безотчетный, инстинктивный. Страх унижения, страх быть растоптанным, изгнанным и осмеянным. Данька мог найти тысячу оправданий для других, но не для себя.

Он не верил ни в себя, ни себе, поэтому самоутверждаться мог только опосредованно — через чужое мнение. И он продолжал его завоевывать, крупница за крупницей составлял мнение о себе через оценки посторонних людей. Он верил людям, внимал им. Целью же его, уже не совсем маленького мальчика, было стяжание власти, могущества, уверенности и самоуверенности. Способ достижения всего этого избрал он банальный, да даже низменный — деньги. Они должны были стать его щитом, его броней, его мантией. Нет, не сразу, конечно, а спустя годы. Сотворенный идол определил в школьные годы выбор будущей профессии: Данька решил, что станет банкиром. Он не был столь глуп, чтобы считать, что все оно сложится само собою, что стоит лишь получить профильное высшее образование, как тут же по мановению палочки богатства мира лягут к его ногам. Для начала он хотел стать первоклассным специалистом, профессионалом своего дела, незаменимым и исключительным. Он довольно рано начал свое движение в этом направлении: занялся поисками институтов и университетов, которые успели организовать кафедру банковского дела (ни на что иное он не был согласен — важна была безукоризненная точность), определился с предметами, которые ему более всего были необходимы для поступления, начал скупать и заглатывать учебники по экономике и по банковской специализации. Его интересовало все: история возникновения денег, история первого банка, наиболее удачливые и талантливые банкиры, инструменты денежного обращения, рычаги воздействия на спрос и предложение, но больше всего его занимали прикладная математика и методы прогнозирования. Точность, предсказуемость непредсказуемого, управление неуправляемым, покорение непокорного, многофакторность — вот что его привлекало более всего. Если еще точнее: приручение хаоса — это была его цель. Пусть хотя бы в какой-то части жизни, в каком-то виде деятельности, это было бы уже что-то. Сухой мир денег завораживал его своими устойчивостью (конечно, мнимой, но простим эту наивность), логичностью, надежностью, изобилуя такими понятиями, как то: теория вероятностей, теория принятия решений, интегралы, дифференциалы, дюрация, эластичность, маржинальная стоимость, рентабельность, вероятность дефолта, уровень потерь, модель Васичека, альтернативные издержки, матрицы и так далее и так

далее — над всем этим мерещился ореол волшебства; все это было сопряжено с фокусом, с ловкостью ума, с торжеством над беспорядком. Неужели все это станет подвластно и ему? Думая об этом, он переполнялся ощущением торжества от предвкушения себя будущего. Он ликовал, несколько презрительно относясь к другим профессиям, в особенности к тем, что и профессиями-то никогда не признавал, — сочинительство во всех его проявлениях, будь то музыка, литература, театр, кинематограф... — все, что связано с искусством (и это при его-то любви к художественной литературе!). Он считал, что приверженцы искусства любят это свое искусство больше, чем настоящих людей. Вряд ли он сильно в этом заблуждался. Сам он людей любил и ненавидел, зависел от людей и делал, как ему казалось, все, чтобы освободиться от этой зависимости, стягивая на себе путы все сильней и крепче, не понимая, что для победы нужна покорность.

Когда его презирали люди (а он твердо знал, что его презирали), ему казалось, он ощущал на себе презрительный взгляд Бога — нет, это не человек, это не толпа, это не плоть презирала, отторгала, отступала с чувством брезгливости, а сам Бог — вот это-то и было невыносимо! Бог превращался в карателя, законодателя и моралиста, он был взыскателен, гневен, суров и непреклонен, властен и вседержавен. Но странное дело, от этого Его существование не становилось маловероятней, напротив, Он не оставлял ни единого шанса усомниться в Нем. Наделенный человеческими чертами, с широким скульптурным лицом и залихватским характером, Он внушал благоговейный, преклоняющий страх. Чем более человеческим, плотским образом наделялся Бог, чем более карающим он выступал, тем более виноватым чувствовал себя Даниил. Такая брэнчащая кандалами вера поработала, изводила, медленно сводила с ума. Глаза терзал солнечный свет — сверкало так ярко, что слепило, так ярко, словно таило в себе нечто, должное при малейшем падении тени проступить в самом неприглядном виде, что отвратило бы взор и с размаху вышибло бы веру. Даниил, утомленный этим белоснежным стерильным сиянием, забивался в углы, искал тени, заслонял лицо ладонями. Когда его принуждали верить, он превращался в помешанного, ненавидящего себя и свою жизнь. Когда он сомневался, он все же жил, ибо метался, как маятник, находился в движении, но не достигал вполне ни одной из крайностей: ни безоговорочной веры, ни полного от нее отпадения. Зато в этом движении краем глаза можно было заметить торжественно восходящую на пьедестал отвлеченную, поэтическую смерть.

* * *

Что ж, немало волею судьбы, а может — вопреки ей случилось в соответствии с планами Даниила: успешно окончил школу, поступил в тот самый университет, на ту самую кафедру, которые загадал, наслаждался кратким моментом победы и снова впрягся в гонку.

Казалось бы, усилия оправдались, вознаградились сторицей, пора бы и выдохнуть: первые серьезные экзамены на пороге взрослой жизни успешно выдержаны, впереди — два месяца отдыха. Но разве так бывает? Разве есть дело насущным вопросам до твоего отдохновения? На повестку дня вскочил, как прыщ (хотя он, конечно, не прыщ, вопрос, конечно), вопрос с жильем, ведь Даньке предстоял переезд в город покрупнее, чем тот, в котором он родился и вырос, в город, находящийся за сотни, нет, даже за тысячи километров от родины. Данька неплохо знал себя. Имея твердое

намерение всего себя посвятить учебе и не желая противостоять пустым препятствиям, которые неминуемо его настигли бы при совместном проживании с ровесниками, возможность прописаться в общежитии он категорично забраковал и начал поиски съемного жилья. Со стороны родителей он не встретил возражений, но понимал, что с их доходом он не сможет себе позволить комфорт и уют, к которым привык. Как ни крути, деньги решают многое: если их много, то ты ими распоряжаешься, если мало — они тобой. Даниил накопил кипу газет с объявлениями, изучил огромное количество различных сайтов, но арендные ставки были непомерно высоки для семейного бюджета. На стипендию рассчитывать было нечего, и вскоре Даниил убедился в этом — сумма была мизерна, едва ли следовало думать о совмещении работы с учебой на первых курсах; в общем, источников дополнительного дохода не предвиделось, такую роскошь, как квартира, Данька при всем своем желании, по-видимому, не мог себе позволить.

Даниил обрел свой приют у чужого человека. До начала семестра оставалось чуть больше недели. Дом находился в пригороде, дорога до университета в лучшем случае будет занимать час времени. Снег, дождь, зной, человеческий фактор, возрастающая интенсивность движения в часы пик будут вносить свои коррективы и увеличат время в пути на полтора-два часа. Даниилу придется смириться с тем, что четыре часа каждого будничного дня (четыре часа его жизни, шесть дней из семи, почти десять месяцев в году! — разумнее было бы обменять их на что-нибудь, вступив в сделку с дьяволом) будут сжигаться впустую. Все сидячие места в автобусе занимались еще на начальной станции, так что рассчитывать на возможность почитать, поспать или как-то иначе провести время с пользой в дороге не придется. Бедный мальчик считал себя несгибаемым и непоколебимым — такая ерунда не могла тебя подкосить, такая малость не могла лишить тебя сил!

Юноша переехал в свой новый кров всего за пару дней до начала учебы. Решить вопросы, связанные с переездом, обустройством и оплатой, помогли, конечно же, родители. В финансовом плане Данька был беспомощен и зависим, что если и не само собой разумеющееся для молодых людей его возраста, то, по крайней мере, не может быть причиной для стыда. И все же Даньке было не по себе, он карабкался, как мог, переступая через свои желания, жмурясь от страха, он пробирался и продирался на ощупь в новый сумеречный мир, имея весьма размытое представление о его устройстве.

А сумерек хватало. И в новом жилище тоже. Дом представлял собой добротное деревянное сооружение с бетонным фундаментом, с зеленой кровлей и деревянными воротами цвета морской волны с кое-где отошедшей краской, кое-где полинявшей на солнце и вымытой дождем. Некрашеное туловище дома глазу виделось желтым, но не канареечного, а оттенка скошенного отсыревшего сена. Место стыка деревянного корпуса с бетоном окаймлял, как будто гофрированная юбочка, серебристый козырек, под которым скрывался целый мир: его населяло скопище паучков с точковидными тельцами и длинными тонкими лапами, шустрых, непредсказуемых, стремительных, опутанных своими сетями и переплетенных друг с дружкой — это была их территория, они заграбастали себе тень и сгущали ее, как могли, сбиваясь в клубни и свисая гроздьями. Данька ужасно боялся этих насекомых и стыдился своего страха, но не имел желания избавиться от него, прибегнув к кардинальному и, наверное, единственно действенному способу — вступить с предметом своего страха в более тесный контакт. К счастью, заглядывать часто под козырек дома надобности не было. Собственно, ничто не мешало паукам различных мастей, тонким и упитанным, с длинными или короткими лапками, проявлять бестактность и вторгаться в людские вла-

дения — летом они часто навевались в дом, плели свои паутины в труднодоступных местах и на самом виду, меняли место дислокации, когда им вздумается, в общем, удаивали своим присутствием любой приглянувшийся уголок.

Внутренности дома, как заведено, были разделены перегородками на четыре полноценные комнаты, кухню, просторную веранду (зимой она служила одним большим морозильником по причине своей неутепленности и неотапливаемости) и комнату, отведенную под большую выбеленную печь, в которой теперь уже не было нужды: к дому не так давно подвели газ. Одна из комнат, наиболее удаленная от входа, но расположенная как раз напротив него, была предоставлена в распоряжение Даниила. Тесная клетка, как для дикого зверя, но обставленная всем самым необходимым для постояльца: стол, стул, кровать, шкаф для одежды, на стене — книжные полки. На окне — железные узорчатые решетки, небрежно вымазанные в серебристый цвет. Стены аккуратно оклеены обоями невзрачной, незапоминающейся расцветки — изображения блеклых цветов, обрамленных прямоугольниками, зато полотна подведены стык в стык, так что нигде не заметить было обломков лепестков или стеблей; окна занавешены плотными темно-зелеными шторами. Деревянный, выкрашенный в темно-коричневый цвет пол, немного вздувшийся ближе к центру комнаты, между досками кое-где имел приличные щели, но это ерунда — большинство из них было спрятано под синтетическим ковром красно-серого цвета с какими-то замысловатыми узорами в узбекском стиле. Все старое, обшарпанное, выцветшее и полинявшее — вот уж чудятся отбрасываемая полетом моли тень и запах нафталина. Назвать обстановку аскетичной не поворачивается язык, верными будут следующие определения: поношенная, дряхлая, изжившая себя; гармонично сюда могли бы вписаться старушка с долизывающей свою жизнь большой кошкой, впрочем, именно они-то и были изъяты из этой комнаты по завершении своего земного пути; хоть Даньке о том и не было сообщено, он о том догадывался по невыветриваемому густому запаху.

Словом, нашему герою предстояло забиться в эту небольшую, со спертым воздухом, стискивающую грудную клетку, а иногда и горло каморку. Но не стоит забывать, что эти несколько скромных квадратных метров все же были отведены ему одному, а не четверым и в его распоряжении оказались довольно массивный стол и стул — ими он мог владеть единолично, а это не так уж мало.

В доме, правда, не было ни ванной, ни туалета, ни иных выводящих коммуникаций. Все удобства находились во дворе, в дом провели лишь водопровод и газопровод. Ведро, стоящее под раковиной, наполнялось с неумолимой скоростью, приходилось выносить его в любую погоду; судя по всему, прогресс шагнул не так уж далеко либо обошел это место стороной (ну или находился где-то на подходе) — мало ли нехоженых мест.

К хозяйке, женщине лет шестидесяти с небольшим, не совсем подходило определение «старушка» (хотя по годам она превосходит раскольниковскую процентницу): ее немного смуглое лицо, обрамленное короткими поседевшими вьющимися волосами, лишилось четкости границ, одрябло и огрубело; взгляд небольших, близко посаженных глаз давно утратил свою свежесть, помутнел, но до сих пор не выражал усталости, выдавал энергичность, цепкость, тупое самодовольство и притязание на долгую жизнь; вполне складное сочетание небольшого носа с тонкими губами было не без налета пошлости; при этом женщина сохранила прямую осанку и природную худобу, граничащую с сухошавостью, и вообще держалась очень бойко; примечательное во внешности тем почти и исчерпывалось, разве что стоит упомянуть костлявые руки со скукожившейся кожей, напоминающей не то куриные лапки, не то ветви иссыхающего

дерева. Когда-то хозяйка работала в железнодорожном депо, но теперь, на пенсии, большую часть ее времени занимал огород, который в любое время года, кроме лета, походил на маленькое кладбище — настолько много там было то плотного белого снега, то рыхлой черной земли.

Поначалу Даниил и представить себе не мог, что свыкнется с чужими стенами, утопающими вместе со всем стиснутым ими содержимым во мраке. Окно, выходящее на затененную сторону, да к тому же заслоненное колышущимся ажуром ветвей растущих у стены вишневых деревьев, изредка одаривал вниманием солнечный свет, тогда его откосые лучи пронзали комнату ослепительными рапирами, кое-где размазываемыми в пятна и трепещущие тени, завлекающие в свои пляски зрение и воображение.

Мало-помалу Даниил перестал замечать окружавшие его бесприютность, холод, неустроенность, даже безобразие более не коржило своим видом его чувствительность. Часть его внимания атрофировалась, поддавшись желанию адаптироваться к существовавшим условиям, а та, что осталась, не чуралась самообмана — Данька теперь и сам стремился к потемкам: окна практически всегда были задернуты тяжелыми, плотными шторами. Стены, пол и потолок оставались негостеприимными, казалось, что они ломаются и кривятся под давлением прислоняемых чужих ушей, а углы обтачиваются острыми языками и прогрызаются зубами мелких тварей. Нельзя было ни на минуту расслабиться: внешние раздражители требовали неустанного бдения и реакции. Его готовы были застигнуть врасплох в любую минуту, обвинить в безделье, лености, усталости, нерасторопности, да и мало ли в чем еще. К его успехам в учебе, целеустремленности и влюбленности в книги относились надменно-пренебрежительно, сам же предмет его влечения — книги — называли не иначе как макулатурой, годной лишь на то, чтоб топить банную печь. Если ты не вкальвал на работе, не занимался физическим трудом — неважно каким: дворник и уборщица были в большем почете, чем студент, склонивший голову над раскрытой тетрадь. Все многочисленные родственники хозяйки, постоянно навещающие ее не то из заботы, не то от бездельничанья и любопытства, так и норовили его укорить, подколоть, всадить ему какую-нибудь занозу, съязвить, брызнуть ядом — так они самоутверждались, восполняли свою ущербность и повышали самооценку. Они с чего-то возомнили, что мальчишка находится у них на иждивении, что он ими всеми облагодетельствован и чем-то им обязан, при этом всячески подчеркивали свою мнимую опеку и заинтересованность в судьбе юноши, требовали признательности и благодарности, упуская из виду то обстоятельство, что Данька ежемесячно и в срок оплачивает свое содержание, то есть исправно исполняет условия заключенного договора, и никому и ничего сверх того не должен.

Несмотря на все эти шероховатости, а порой и вполне ощутимые чинимые ему преграды, Даниил умудрялся сохранять в фокусе своего внимания цель. Правда, чистой и незамутненной ей довелось оставаться недолго — в первоначальном виде она просуществовала три, максимум — четыре семестра. Дальше она стала тускнеть и меркнуть, границы ее пожаткало беззубое солнце и размыл плаксивый дождь. Чуть меньше года потребовалось на то, чтобы разрыхлить и просадить ту твердую почву, на которой Даниил всегда находил опору; срока хватило, чтобы надломить его волю и обрвать ее в своего врага.

Даниил поначалу этого не замечал: слишком незначительно проявляли себя касающиеся его изменения, но ежедневно его сознание толклось, словно в ступе, и, желая укрыться от воздействия извне, просачивалось все глубже, забивалось в протоки бессознательного, выталкивая из него лишь одно желание — забыться, забыться

крепким и долгим сном, бесчувственным и бесцельным. Но постепенно количество тревожных симптомов возрастало, сами по себе они были бессвязны и назойливы: Даниил никак не мог выспаться, его постоянно клонило в сон, сколько бы часов он ни проспал; он стал засыпать сидя на парах и стоя в автобусе; Данька понимал, что процесс происходит по его попустительству, но не мог его остановить. Еще недавно Даньку волновала каждая вещь, каждая деталь, каждое ответвление наружной жизни, все это вызывало в нем любопытство, маслянисто переливалось некоей особливостью, манило мистицизмом и аутентичностью, цепляло память и вкраплялось в ее ячейки. Теперь же все как будто таяло, размазывалось, смешивалось с водой и забрызгивалось весенней грязью. Все, что он ощущал, ибо он уже не мог чувствовать, — это пресыщенность, скука, бесполезность и абсурдность. Коловращения жизни как будто хотели отнять его у него самого, лишить его времени. Данька мог просидеть со склоненной головой за столом часа два или три кряду и не выдать ни одной приложимой к делу идеи. Он потерял мотивацию, умение быстро ориентироваться, систематизировать, отыскивать нужные ответы. Его мысли роились вокруг отвлеченных понятий, обесмысливающих все приобретаемые знания, заучиваемые формулы, решаемые задачи. Все вдруг как-то обратилось в сутолоку, суету, стало игрушечным и ненастоящим. Зато из тени выступили притязательные вопросы: «Зачем я это учу, что мне это даст? Кого я обманываю, пытаюсь убедить себя в необходимости того, что я делаю?»; «Хорошо, представим даже, что ты выучил все, что написано в книжках, все, что произнесли человеческие уста, все, что было видно глазами живых и отживших, все, что высеклось, выцарапалось, выскоблилось в лабиринтах, пещерах, свитках, монуентах, манускриптах, — все это тебе пригодится, найдет свое применение в жизни, что пренебрежение силой трения оказалось оправданно, что человек — разумное существо, поступки его подчинены логике, желания сопряжены с волей к жизни, с благоустройством в пользу самого себя и человеческого рода. Допустим даже, что ты преуспел в этой жизни, дорвался до материальных благ и стал уважаемым и почитаемым человеком, занявшим весомое и лакомое местечко в социальных сотах... что ж с того? Зауважаешь ли ты после этого самого себя, примиришься ли с собой, найдешь ли согласие с внутренним голосом, сладишь ли со своею волей? И найдешь ли чем извинить свою суетность, свое копошение и ерзанье, кроме как самообманом и собственной слепотой? С чего это он взял, что то, что выдуманно человеком, внедрено в социум, забетонировано словом и признано большинством, есть неоспоримая правда и всеобщее благо? Пусть, пусть даже всеобщее, но как же благо индивида? Как же мое благо, как же моя выдумка, как же мое „правильно“?»

Эти бесплодные размышления вели к апатичности, невозможности действия, к обесцениванию любых целей.

Когда Даниил жил с родителями, хаос был вовне его, он обволакивал, лип, словно к мухе, угодившей в паутину, но при этом Данька изо всех сил пытался побороть его, вырваться из его цепких лап. Едва ли ему это удавалось, но он сохранял свою необоримость: хаос, как бы крепко к нему ни прикипал, не мог влиться внутрь организма — последний отторгал все чужеродное, мобилизовывался и вновь упорядочивался. Но теперь, теперь все было иначе: хаос, неупорядоченность, разомкнувшие объятия, внешне отступившие, переставшие быть настырными, вдруг стали неспешно и незаметно просачиваться сквозь поры, достигать и обволакивать кровеносные сосуды, продавливать во внутренней полости пропитанные ядом канавки.

Нет, что за ерунда! — что может быть проще, чем совладать с самим собой?! Даниил не мог себе представить, что когда-нибудь может быть подведен самим собою. Его еще не обурежали страсти, не мучили призраки прошлого, не донимали воспо-

минания... Нет, все это было, было, но от всего этого получалось отмахнуться, отгородиться, трезво просеив через сито рассудка. Что там фантомы! — даже физиологические потребности могли быть приглушены усилием воли на определенный промежуток времени. Данька с легкостью обошелся бы без еды, скажем, неделю, не теряя при этом работоспособности. То же было с чувством жажды и влечениями иного рода. Заложенные природой позывы трансформировались и иссякали, гасли на пути к мозгу. Даниил слишком увлекался внешними раздражителями, чтобы уделять внимание внутренним процессам. Уж с собой-то всегда можно сладить! Да-да, нелепость, неуклюжесть и неуверенность в самом себе могут приводить к парадоксальным выводам.

* * *

Чем дальше, тем меньше удовлетворения от учебы. Сдались ему эти экономические, статистические, финансовые термины, формулы! Все они уже перемежаются, ассимилируются и примыкают к категориям моральным, оценочным, отвлеченным: все можно будет транспонировать, подвергнуть инфляции, проверить на эластичность и продифференцировать.

Интерес гаснул так быстро, что, несмотря на дотошность, целеустремленность и упорство, Данька не то что не шагнул в дебри истории финансов, но остался у самого порога первого банка — храма (с тех самых пор где-то на запятках сознания Даниила валялась индульгенция религии на ростовщичество). Не пытаясь разгадать загадку, боясь разоблачить великую идею, скрытую за воротами божьей обители, юноша опрометью кинулся по спирали времени поближе к современности, стал изучать современные методы оценки кредитоспособности, всякие Базели, вероятности дефолта, уровни потерь и прочее, прочее; его какое-то время занимали модели Блэка-Шоулза и Васичека, корреляция, теория игр, графы, вероятность и статистика — он снова и снова зубрил формулы, теоремы, показатели, счета бухгалтерского учета, внушал себе симпатию к микроэкономике, риск-менеджменту, оценке бизнеса и Положению Банка России о формировании резервов на возможные потери по ссудам. Его ум без проводника блуждал в лабиринтах знаний, то и дело натываясь на стены, на тупики, он разворачивался, шел к началу, но, плутая в своих следах, не мог достичь и его; система не выстраивалась, одна отрасль знаний не состыковывалась с другой, накопленный материал не срастался даже в фундамент теории, грезить о здании не приходилось, так же как и об успехе попытки наложить теорию на реальность — это то же самое, что искать точку пересечения параллельных прямых. Даниила терзала догадка, что он ищет не там и не то, но ум в смущении и упрямстве продолжал рыскать в потемках, ковыряться в грязи, рассчитывая вымыть из нее крупинки драгоценных камней. Со всем этим хотелось поскорее покончить, но что-то гнало, гнало вперед, заставляло метаться, не доставляя ни удовлетворения, ни радости. Все эти неуютные признаки Даниил списывал на собственные невежество, неосведомленность и негибкость мышления. Было исключено, было просто невероятно, что ненадежным, шатким, неверным оказывалось то, чему поклонялись люди, то, что пережило тысячелетия, то, на что до сих пор молились, — деньги. И пусть Даниил не понимал по-настоящему этого религиозного благоговения, идолопоклонничества, пусть он не прозрел для этой установленной и принятой подавляющим большинством связи между человеческой душой и набором цифр, обозначающим номер банковского счета и сумму на нем, у него не было ни единого шанса перестать верить в их власть, в том числе и над самим собою.

Сложно все, неудобоваримо, косноязычно, синтетично. Вроде думал, что берешь в рот сочный кусок мяса, а оказалось, что бутафория, — тут бы взять да и выплюнуть этот шмоток резины! — но что же мы? — жуем и морщимся, жуем и травимся, жуем и отторгаем!

Тут бы еще перейти на высокопарный слог и сказать, что вот он — момент, когда вера Даньки пошатнулась, душа подверглась флуктуации, что в Боге он усомнился, что отпал от Него и признал и принял свое полное одиночество вместе с одиночеством всего человечества. Что же — веру сразила цифра, поразило число? Вера оказалась нулем перед единицей? Вот так мы и упрямся в простое богохульство? Для него мы плутали? Нет, так не могло случиться. И все было не так, или не все было так — разница огромная, но предоставим сомнению мухой облетать то одну, то другую сторону границы. Вера никуда не делась и даже не пошатнулась, хотя Даньке очень бы этого хотелось, — вера окрепла. Душа надломилась, да, но она обнажила свои недра, позволила стать ближе к своим тектоническим пластам. Бог не исчез, Он остался, но изменился. Изменилось и отношение к Нему: Он больше не был тем, к кому стоило взывать, на кого стоило уповать. Он вдруг, в одночасье, обесценился и стал презренным: Данька отвернулся от Него. Данька рад бы просто разувериться в Его существовании, но не мог. Ему было стыдно своей веры — стыдно признавать существование Бога, стыдно было Бога, который заглядывал ему через плечо и с насмешкой отмечал ошибки. В те мгновения, когда мысли Дани становились нестерпимо выразительными и четкими, почти откристаллизовавшимися, ему становилось смешно своей веры. Даньке представлялось, что вся суть истинной веры выражена следующими строками (не им изреченными, ибо все, что производилось им самим, ему казалось лишь смешным): «Закрываю глаза и вижу стайку птиц. Зрелище длится секунду, а то и меньше; сколько их, я не заметил. Можно их сосчитать или нет? В этой задаче — вопрос о бытии Бога. Если Бог есть, сосчитать можно, ведь Ему известно, сколько птиц я видел. Если Бога нет, сосчитать нельзя, поскольку сделать это некому»¹. Даниил не желал позволять Ему считать за себя птиц. Он не желал Его присутствия в себе. Он хотел видеть птиц, и ни к чему ему было вести их счет. Пусть Он считает то, что Ему с такой готовностью испокон веков совали за пазуху, — деньги. Первое впечатление искреннего удивления от обнаружения того, что прототип кредитного учреждения берет свое начало в храме Господнем, что колыбель злата была где-то перед аналогом, уже успело померкнуть. И все же это вопиюще странное соседство и сочетание духовного и материального, устроенное божьими приспешниками, — теми, кто провозглашал воздержание, смирение, проповедовал искание истины, изобличал суетность мирского, греховность наслаждений, никчемность благ, теми, кто увещевал отказаться от материального в пользу спасения души! Видимо, Бог держит у себя людские капиталы, дабы искушение не выходило из-под его строгого надзора. Стоит ли дивиться тому, что к нему часто возносили молитвы о благах вполне земных — уж они-то были в Его ведении и распоряжении.

Разве не абсурд, что подобное устройство совсем не порицалось, не подрывало веру в Церковь, а, наоборот, внушало к ней уважение и благоговейный страх, — обладателей деньгами всегда наделяют властью, всегда причисляют к божьим помазанникам. Христианское или какое бы то ни было религиозное учение лишь выигрывает. Слушателям Бога, получившим пожизненную индульгенцию, стыдиться совсем нечего, даже своей алчности. Имея деньги, легче убеждать других в их бесполезности. Напленный не чувствует жажды страждущего. Неискушаемому легко судить искушенного. Безусловно, обходиться без денег не может ни один человек. Даже находящемуся

¹ Борхес Хорхе Луис.

на попечении у государства нужна своя копеечка, но неужели деньги настолько нам дороги, что мы стремимся предать их неусыпному бдению самого Господа? И что же тогда удивляться тому, что Он не приходит нам на помощь, занятый сбережением самого для нас драгоценного? Он же — охранник, страж! Что ж, таковы основания, таковы истоки. Едва ли что-то можно изменить, едва ли можно изничтожить электрон или отменить гравитацию по той лишь причине, что они несимпатичны. <...>

* * *

Реальность меж тем все наступала, неотвратно наступала и наваливалась, требуя, как глина, прикосновений своего гончара. Никем не наблюдаемый, никем не оцениваемый, ни к чему не примеряемый, Даниил уж тяготился своим существованием. Он отчаянно нуждается в рефлекторе, в соглядатае, в свидетеле своей жизни. Иначе он не умеет верить себе, чужое присутствие ему для того, чтобы убедиться в собственной реальности. Ему необходим кто-то вымышленный, чтобы перестать самому быть ненастоящим. Стыдливо, не напоказ он искал отклика на свое обездоленное скитание. Все, что касалось посторонних людей, выглядело таким многозначительным, все, что касалось его самого, было смешно и нелепо.

«В конечном счете...» — а ведь это было весьма и весьма важно, что счет-то все-таки велся; счет велся — и с Ним, и без Него, но все-таки Даниилу нельзя было забыть, что он сам связал свою жизнь со счетом. Он сам выбрал эту сторону — сторону цифр, точных формул, квадратных корней, интегралов и дифференциалов, сторону полнейшего рационализма с иррациональными, как душа, числами. Да, не слова, отнюдь не слова, а сухопарые надежные и постоянные цифры должны были жечь в нем благоговейный огонь сознания, а не эти пигалицы, нанизанные бисеринками на многослойные браслеты слов. Не скроем, продолжал он корпеть и над этим недостойным делом. Бог с ним, но подступало время выпуска, маячила необходимость трудоустройства, выхода в бескрайний океан так называемой взрослой жизни.

Вот уж и система так называемого образования (кто-то из Даньки да должен был образоваться), в которой он четырнадцать годов варился, к которой приноровился, к теплomu бочку которого изнутри припекся, заворочалась, запыхилась да поднужилась — срок поспевал, готова была она выкинуть, выплюнуть не свое дитя, выдрать из своей ложбинки и предоставить новой житейской стремнине. Начальная планка — дно, а ведь он даже и дышать под водой не умеет. Он уже задохнулся, уже утонул, эта игра началась без него, без него она и завершится. И Даниил постиг эту правду жизни, постиг, но пока не знал, что с ней делать, как втиснуть ее в себя. Чем ближе окончание университета, тем сильнее чувство тревоги — кому теперь сдавать экзамены, кому понадобятся его ничем не подкрепленные знания, его грамоты, медали и дипломы? И все же что-то не давало ему окончательно сдаться, что-то заставляло длить агонию, бултыхаться и хватать ртом воздух. За смелость и упрямство ему воздалось: чья-то небрежная рука подхватила, завертела и вынесла его на берег. Устроившись на работу после окончания университета, Данька по глупости даже подумал, что перехитрил свою судьбу.

* * *

Ну так да здравствует оцифрованный мир! Матрицы, логика, всеобщая вычисленность... Вот и наш герой отвешивает тебе с готовностью и смирением поклон, прими его и заглоти. Сдержанность, умеренность, расчет, дотошность, пунктуальность, скру-

пулезность и высшее радение — он готов все положить к твоему алтарю, как монах, служить тебе и исполнять прихотливую твою же волю. В волокитстве уличен не был, но за тобою готов и волочиться. Всю свою жизнь намеревался он посвятить тому, чтобы таскать и перебирать бумажки, белоснежные, тепленькие, только что вышедшие из принтера, точно подогретые пеленки. Но, оцифрованный мир, оправдаешь ли ты ожидания? Ты должен был быть разлинованным, ячеистым, расчерченным, как шахматная доска, как клетка, в которую можно было бы заключить Данькину душу, здесь должны бы подавиться все мятежи, тревоги, здесь не должно остаться места разнузданности, лени, вольнодумству. Выданы правила — читай и соблюдай, тебе воздастся. Но что там уготовано вместо аккуратной клетки? Огромная система, человеческая машина, до отказа набитая активными, извивающимися, плодящимися образцами, вынутыми точно из реторты, банальными, расхоложенными, тщеславными, напыщенными, чванливыми, причмокивающими, всхлипывающими, чавкающими. Отдадим должное, среди них, как золото среди песка, находятся экземпляры и иного типа: стойкие, дисциплинированные, прагматичные трудоголики, профессионалы своего дела; в их повадках — гипнотизирующая размеренность, спокойствие, уверенность, они смотрят тигром, орлом, змеей, ничто не выдает в них суеты и человеческого смятения. Первых было в разы больше, чем последних. Но Даньке повезло подобраться и ко вторым, попресмыкаться у подножия их пьедестала. Разница была в температуре — в толчее первых чувствуешь себя, как в жарко испропленной бане: тяжело дышать, необходимо притираться и стыдно оттого, что больше никому не стыдно. Вторых мало, и от них веет холодом, лишний раз они тебя не заденут, а если и заденут, то поморщатся, словно замарались.

Свое первое официальное рабочее место Данька нашел на сайте вакансий. Конечно, ему хотелось перепрыгнуть через свою и множество других голов, и вроде как ему должны были дать это право красные дипломы, грамоты, медали и так далее — иначе зачем они? — но вот что странно: он их стеснялся, да и сам себе отказывал в возможности получения каких-либо преимуществ благодаря им. Вроде как понял, что никто и не заставлял его, никто не подгонял кнутом и не просил у него знаков отличия. Более того, потенциальные работодатели косились с недоверием и плохо скрываемой завистью на эти самые знаки — видать, не отступили еще годы студенчества в глубокие теснины памяти. И все же Даниил прошел собеседование, выдержал многочисленные тесты и проверку службы безопасности. А еще добыл справку из психиатрического диспансера о том, что он не имеет отклонений, «нормальный», «среднестатистический». Видимо, бывали прецеденты... Правда, справку выдавали так, что и без нее вполне можно было бы обойтись: пришел, заплатил пятьсот рублей в кассе и зашел к врачу, принимающему другого пациента, а тебя тут же, между прочим, осмотрели — кольнули профессиональным взглядом поверх приспущенных к кончику носа очков, подписали желтоватую, ворсистую справку, вдавили в нее синюю печать да и развернули с Богом, чтоб больше не ходил. И Данька не ходил.

Учреждение под названием «банк» распахнуло перед ним свои двери, прияло в себя, как в ясли агнца, и усадило за стол. Отдел кредитования юридических лиц, сегмент для начала соответствующий — «малый». Коллектив небольшой — всего четыре человека вместе с Даниилом, и это учитывая руководителя. Коллеги Даниила были значительно старше (вот он, изъян неуловимого по большей части, но сбитого в отдельной точке в густую массу времени: в сжатое пространство удалось стиснуть лета от двадцати до пятидесяти), и, видя его главное преимущество — молодость и огромный недостаток — неопытность, смотрели на новичка с нескрываемой завистью и не-

приязнию. Лишним будет описывать обстановку кабинета и его обитателей — как выяснится впоследствии, водянистые впечатления от знакомства с ними не оставят по себе никакого осадка в памяти Даниила, развеются, как туман. Кто-то завел невидимый механизм, и рутинная карусель, скрипя и дергаясь, начала свой разбег, размазывая все вокруг, и вот уже калейдоскопом замелькали дни, один другого короче. Данька старался, он въедался в каждую строчку нормативных документов, вчитывался в сноски, не ленился находить документы, упоминаемые в этих многочисленных сносках. Раз за разом обводил он своим немигающим взглядом буквы, прилеплял их друг к другу, но слова не вязались, фразы не обретали смысла. Разъединенные, несвязные действия, которые предстояло совершить ему или сотруднику другого подразделения, в уме Даниила не смыкались в единую цепь. Формулировки наскакивали одна на другую, спустя страницы две или три они начинали противоречить друг другу — то ли автор забыл, передумал, то ли решил намеренно ввести в заблуждение, а то ли был слишком прозорлив и дальновиден — надо ж ему чем-то заниматься и потом, когда документ спустится до коллег-исполнителей: будет отвечать на их нескончаемые вопросы, будет нужным, даже незаменимым, а то поди разбери, что он имел в виду. Многочисленные инструкции, технологические схемы, методики, регламенты зачастую писались теми, кто и не касался практики. Сокрушаясь над путаностью изложения и собственной непонятливостью, Данька корил составителей и себя заодно — за заносчивость и высокомерие: попробовал бы сам хоть так написать. Корил, но не бросал попыток одолеть декларируемые нормы, хоть заучив их наизусть, хоть разъяснив себе как-нибудь, лишь бы слепился смысл, лишь бы сметались все разрозненные лоскуты. Смысл, правда, улепетывал быстрее, чем Данька успевал наступить на его тень.

Где-то там на периферии мозга уж посверкивала (она моргала, как желающая перегореть лампочка, но все никак не могла скончаться) неоновыми огнями одна незатейливая строчка: «Вот собрались и так решили. Нет никакой особой логики, которая была бы лучше другой, но под свою логику, если что, у нас все факты подтасованы — обращайтесь». Вопила эта строчка, вопила, для того и моргала: не зажигалась насовсем и не гасла — назойливая она, упертая, вот и пришлось ее чем-то усмирять и прищучивать. «А ну и что! — решил Данька про себя. — Что собрались и решили? Не абы кто же собрался небось, все люди уважаемые, авторитетные, опытные, с чего б отказывать им в праве собраться и что-то решить большинством экспертных мнений, сумели же они как-то прийти к общему знаменателю!» И Даниил переступил через себя: он еще усерднее стал заучивать неудобоваримые, корявые, сучковатые полотно текста, которыми было необходимо руководствоваться в работе. Что ни говори, это противоречие в себе он если и не преодолел, то пообтесал и успешно утрамбовал его поглубже внутрь, чтобы не торчало на виду.

Но было и другое, саднящее и свербящее Данькино нутро: опытные ученые мужи и почтенные дамы изъяснялись каким-то странным способом: употребляя для того то согбенный, то растянутый, то ушитый, но прилаженный к их мышлению, асимметричный язык, как будто подогнанный для совместного пользования лишь избранными. Говорили-то еще ладно — складно, прижимисто, точно, не тушуясь и не размазывая мысль, а иные и вовсе как ручейки весенние журчали — так и видится, как солнечные лучи вплетаются атласными лентами в косички внешних вод; но писали почти поголовно на каком-то искалеченном, истерзанном, искромсанном языке: громоздились запятые где ни попадя, должно быть, перескакивали с обращений, причастных и деепричастных оборотов, двоеточия и тире почти что не встречались меж слов

(надо полагать, сбежали), все это было ряжено в тон пафосный, назидательный, самодовольный, рассчитывало стяжать беспрекословное подчинение и вселить трепетный страх тому, к кому было обращено, а если вдруг где-то требовалось прикрыть свой промах и без упоминания о нем никак обойтись нельзя было (то водилось среди исполнителей), то непременно большинство «извенялось» (похоже, для пущей убедительности пускали кровь из вены и о том сообщали), но не просило прощения. А стоило бы попросить: вот хотя бы за эти самые вопиющие орфографические ошибки — они были чем-то неприличным, выпирающим, вульгарным, словно нечаянно или нарочно обнаженные части тела, которые подобает скрывать от чужого взгляда, задрапировывать в потемки. Волей-неволей начнешь сомневаться в содержании кривых сосудов, задаваясь вопросом: уж не попутали ли и сами слова, не оговорились ли... Доверие подрывалось. В учебниках, которые Даниилу доньше приходилось штудировать, ошибки были исключением, редчайшим событием, признаваемым, обсуждаемым и исправляемым. Тут же все было иначе. Знания представляли лжезнанием, они были унавожены тщеславием, самомнением, кичливостью, надменностью, деспотизмом — их главное предназначение сводилось к унижению тех, кто их выдумал. Эта пища ума смердила, и тот, кто, несмотря на это, ее поглощал, вынужден был мучиться несварением. <...>

Ну да бог с ними, и с ошибками (кто не пренебрегал грамматикой, да и за автором сих строк тянется нескончаемый шлейф едва ли оправдываемых промахов), и с заблуждениями, человек, кажется, из них одних и скроен, но как-то же уживается сам с собою, как-то функционирует, а что хорошо для одной системы, глядишь — сгодится и для другой. Всего больше коробило, обижало, возмущало и отвращало то, что эти самые господа, шипящие, грозящие, мящие о себе невесть что, в общем, всяко власть предержащие и «извеняющиеся», не знали пощады в признании и предании каре чужих и своих, но «делегированных» ошибок — а они обладали несомненным талантом во внушении ошибок, чувства вины за них своим подчиненным. Нередко шишки сыпались на голову Даниила, нередко эту самую голову ему хотелось посыпать пеплом. Но он держался.

Страшно представить, до каких размеров волдырей вздуваются мелкие дневные проблемы, неприятности, заботы, препоны на просторах сознания в ночное время суток. Эти волдыри нагружают собой утомленное сознание, зудят, лопаются и зудят еще сильнее. Пропущенная в документе печать, потерянный клиентом документ, необходимость повторного подписания, исправления отчета или заключения, неснятое обременение в Росреестре — все эти события ночью превращаются в монстров: они наступают, сковывают в цепи, не оставляя ни единого шанса вырваться из-под их гнета. Карусель сознания вынуждена бесконечно крутить этих монстров.

Ночь была для Даниила самым страшным временем. Черная, плотная, ночь сама была монстром, поглощала его, заглатывала целиком, но он не разжевывался, не дробился и не переваривался, хотя медленно, но верно мялся и месился, раскатывался скалкой и рисковал быть совсем расплюснутым. Но каждый раз что-то не удавалось, и часам к пяти утра он, обслонявленный и изрядно скомканный, выплевывался неким аморфным существом на гранитный парапет всамделишного существования. А зачем, спрашивается? Велика ли разница между ночным наваждением и дневным бодрствованием? Как только голова Даниила касалась подушки, с ним начинали происходить ужасные вещи: он вновь переживал свой будничный день с незначительными вкраплениями мистики, с гипертрофированными чувствами, с пылающими красками, с увеличенной резкостью и возросшим освещением. Темпы происходящего ускорялись, а Дать-

ка, втиснутый в действительность, как в некий студеный эфир, не поспевал реагировать: нужно было приложить усилия даже для того, чтобы выдернуть руку из текущего положения и пробить брешь для нового. Руку что-то сжимало и теснило, она затекала, покрывалась мурашками, пронзалась болью, но и эта боль не спасала от изощренных измывательств слов, тембра, тональности голоса, которым подвергалось сознание бессознательным. Травля, ох какая травля разыгрывалась в одной голове, как мчались мысли, как сжималось и забивалось бичуемое существо, оно почти готово было лопнуть, погаснуть, вытесниться, но что-то, какая-то малость удерживала от окончательного исчезновения, и изможденное, покалеченное сознание бултыхалось и барахталось, как лягушка, к брюху которой привязали камень. Невыносимо видеть во сне, как пробуждаешься с чувством вины, отправляешься на работу, еле семена ногами, преодолевая тяжесть и распирающие в икрах; высиживаешь встречи; защищаешь на комитете заявки; получаешь вопросы, которые следовало бы обращать к самим же задающим их; выслушиваешь упреки, получаешь задания и, наконец, сознаешь, что совершил непоправимую ошибку, и начинаешь медленно сходить с ума. Все до мельчайших подробностей: ты видишь не тобой заполненные заявки, не тобой написанные электронные письма, материалы судебных дел, бесконечные таблицы, расшифровки расчетных счетов, лица, гнев, ярость, в которые ты приводишь руководство, слышишь слова, которые они еще не произнесли, обращаешь внимание на новый галстук одного начальника, на кольцо другого, на прическу третьего, на сыпь, появившуюся на руке четвертого, на тень, на блик, на пылинку. Ах, как страшно, как больно, как свербит в голове зубная боль, как противно и тягостно быть опутанным недовольством, раздражением и нетерпением собравшихся за этим круглым столом! Этот дергает ногой и стучит об пол своим начищенным ботинком, тот надулся, вот эта продолжает допытываться (ты ее уже не слушаешь — ее словам нет места в твоей голове), о, вон еще тот, что просто над тобой смеется. Тебе так хочется их придушить. Уснуть бы, уснуть бы прямо здесь, на этом самом месте, под их испепеляющим взглядом. Уснуть? Но ведь ты и так спишь, все это тебе только снится, вся эта тарабарщина, это всего лишь трепыхание крыльев ночного насекомого перед твоим носом. Проснуться, проснуться — все, что нужно, чтобы избавиться от кошмара!

Вкушая горькие плоды, Даниил, стиснув зубы (зубное нытье отчего-то отдавало из челюсти в лобную часть головы), продолжал двигаться. Нет, не вперед, но судорожно, как поломанный станок, вхолостую, туда-сюда, лишь бы не остановиться совсем.

Данькины сослуживцы были большие молодцы (никакой язвительности и сарказма): приходили они впритык к положенному времени, что не мешало им в течение первого получаса рабочего времени посмаковать кофе с пирожными и печенюшками, обсудить вчерашний вечер, счет ночного футбольного матча, фильм, только что вышедший в прокат, и тому подобное, успевали переделать все дела (Данька искренне в это верил, ибо в адрес ни одного из коллег ему не доводилось слышать упреки начальства), выскальзывали с работы через минуту после окончания рабочего дня. Даньке оставалось лишь удивляться: он так не умел. Он целыми днями корпел над бумагами, напряженно утыкался в монитор, принимал клиентов, консультировал их по телефону, готовился к комитетам, но ничего не успевал, кроме как получить новые задачи поверх нерешенных старых. Даня, наивный, не утративший веру в людей, изумленно взирающий на них, готовый все перенимать и учиться, был уверен в том, что компетенция, квалификация и опыт его коллег настолько непревзойденны, блестящи, безмерны и достойны восхищения, что ему лишь оставалось пенять на свои медлительность, тугодумство, слабоволие и нетерпение. Чтобы угнаться за своими

старшими товарищами, он вновь и вновь задерживался на работе, пытался разобрать свои завалы, но закапывал себя в яму все глубже и глубже, не смея заподозрить, что ему, как новому и неопытному сотруднику, свалили все негодные сделки, копившиеся месяцами, а теперь для верности — чтоб не дать учуять неладное — торопили и подгоняли, чтоб ни единой минуты не оставалось на размышления, трезвое осмысление объема работы и действительного положения дел. Данька не справлялся: чем больше времени он уделял работе, тем большего она от него требовала. В конце концов, загнанный как лошадь, эмоционально выгорающий, перестающий быть чувствительным к напору, возмущающийся, но еще не протестующий, он начал прозревать. Он стал замечать, что в рабочих котлах его коллег ничего не кипит, сделки не заключаются, а все клиенты, которые у них появляются, постепенно становятся его, Данькиными. Он был наивен, но все же не туп. Но казалось бы, разве это не шанс: раз все сделки твои, так иди и иди на комитеты, запоминайся, блистай перед руководством, получай свою похвалу, а вместе с ней и удовлетворение от проделанной работы, в общем, думай о том, что тернии не бесконечны, и не смотри по сторонам. Действительно, отчасти в этом стоило и можно было найти утешение: Даниил выходил на комитеты, сталкивался лоб в лоб с руководителями, отвечал на их вопросы, отмечал их благосклонное к себе отношение, заключал сделки. Но сколько их было, этих сделок — одна, две за полгода? Да, ибо по большинству тех заявок, что оказывались у него на столе, следовало вынести отрицательный вердикт. Со временем Даниил и это понял, он стал быстро отличать «хорошего» клиента от того, что с высокой вероятностью перейдет в разряд проблемных в короткие сроки, пустую работу от перспективной — он начал отделять зерна от плевел. Вскоре Даниил пошел на первый свой рабочий обед, не чувствуя угрызений совести. Спустя еще немного времени, он начал уходить домой не вовремя, но значительно раньше. Сделки делались, неидеально — и это скребло изнутри, но как возможно, посильным трудом. Внутренне Даньке тоже стало легче: он принял для себя твердое решение — о смене рабочего места — и как будто распахнул перед собой новую дверь. Текущее место могло подойти лишь тому, кто готов был поступиться своими принципами и подмять себя под систему во имя денег. Он получал слишком мало, чтобы разменять на эти гроши свои принципы. Останься он здесь еще года на два, он бы кончил тем же, что и герой Германа Гессе «Под колесом». Для него система этого кредитного учреждения была колесом. В нем ему нельзя было не крутиться, а удобно повиснуть, зацепившись за ступицу.

Выдачи кредитов «своим», по договоренности и указкам, с минимумом документов и залога — для этого годились руки исполнителей самого низшего звена. Головы же этих самых исполнителей годились на то, чтобы лететь при любом разоблачении. Ревизии, служебные проверки, расследования булыжниками катились на жалких работников, последствия острыми пращами всаживались в тела заранее намеченных жертв.

Нарисованные балансы, раскрытая дебиторская и кредиторская задолженность — лишь бы не втянуть в периметр сделок наиболее ценные компании, принятие неподтвержденных данных по доходам и расходам, выдачи кредитов на покупку чего бы то ни было у своих же, аффилированных компаний — это лишь малая толика очевидных схем, которые так или иначе составили опыт Даниила.

Даниил постиг, сколь дорога минута рабочего времени его начальства, сколь мизерен час его собственного времени. Выходило, что его жизнь дешевле, чем чья-то, выходило, что деньги и жизнь его сумели оценить. Но почему? Почему, если он вкладывается больше, в эту минуту, интенсивнее, горит и переживает сильнее? Впервые он обнаружил в себе революционера, впервые через себя пропустил вопрос борьбы про-

летариата с буржуазией. До того он верил в то, что, чтобы заработать, нужно очень много работать, больше других, усерднее, упрямее, выдумывая и предлагая что-то новое, совершенствуя существующее и безукоризненно выверяя все сделанное. Но «связи», угодливость, лесть начальству, подличанье, показушность и все в подобном роде — то, что Даниил пропускал мимо ушей, то, от чего всегда отнекивался, — оказывалось сильнее его усердия. И оказывалось, что леса жизненного проекта Даньки были подпилены у самого основания.

Пустота, отрешенность, попытка интроспекции изымали из глубин памяти застывшее в памяти солнце по ту сторону залепленного морозными узорами окна: оно смотрит так беззастенчиво ровно и спокойно, так равнодушно, до щемящей боли в сердце. Вот это холодное солнце: ты смотришь на него, окунаешься в него, проходишь сквозь него, как призрак, но не веришь в его жестокость. Это солнце будто убежало от своего предназначения, позабыло о нем в этой земной точке. Почему? Оно не знает о своем предназначении, оно не может его выполнять, не хочет?.. А знаешь ли ты свое предназначение?..

Какое дело — его призвание? Что ему уготовлено, что лежит там под елкой в большой красивой коробке с синими лентами? Как знать... Что такое его «свое» дело, есть ли оно, ведь никто его даже не обещал. Заниматься так называемым «своим» делом, слепо, без оглядки — значит быть не просто уверенным в себе — значит быть самоуверенным, слепым и глухим до всего, что дела не касается. Это значит верить в себя, в свое дело, в его смысл, не имея к тому ни логических обоснований, ни оправданий, ни чаемого результата. Нужно суметь выползти из-под пресса своих сомнений, выдрать ум из терновника предрассудков, навязанных суждений, оценок и — морали. Нужно разболтать эту тяжелую, мутную жижу болота, нырнуть в него с головой, не запутаться в тине, не увязнуть и достать со дна, с абиссали души невидимые драгоценности, которые, быть может, есть, а быть может — их никогда и не было. Есть или нет, но тот, кто вынырнет на поверхность, едва ли избежит презрения к жизни. И нельзя не презирать: презирать человека, толпу, общество, коллективный рассудок, обычаи, устои, опыт, переработанную грудку опыта, знаний и труда. Презрение — это орудие противопоставления себя и своего, пусть мнимого, таланта им, порицающим, критикующим, возносящим, признающим и отвергающим, презрение — это тщеславие и категоричность, в некотором роде ограниченность — желание отсечь себя от щедрой рассады остальных. Выдуманный герой, его подрагивающий силуэт, с которым ты ассоциируешь самого себя, оказываются значимее и весомее человека из плоти и крови. Карикатура затмевает живой прототип, бледные, едва различимые линии предпочтительнее вопиющего, налитого соками естества. Человек — всего лишь материал и орудие искусства, он служит ему вместе со своими страстями и слабостями, он подчиняется завихрениям, изломам и перегибам идеи, он — лишь художественный образ, лишь символ, обозначающий некую отвлеченность, с его помощью выражаются мысль и чувство, человек — их наряд, который нужно относить и бросить.

* * *

Даниил смутно подозревал, что болен душой, но не в том смысле, что он душевнобольной (хотя кто его знает — не верить же справке за пятьсот рублей), а просто застудил душу, вот она у него и расклеилась, вот ее и лихорадит. Он стал часто сомневаться в своей способности здраво рассуждать, но ему так хотелось себя оправдать, настолько громко кричало в нем чувство собственной вины, что нужно было чем-то прикрыть, заслонить свои слабости, несовершенство воли, недостаточность или

избыточность усилий, пренебрежение к одним и страсть к другим вещам. И такой заслон, такая ширма находились — в физических недугах. Данька выдумывал их себе, но, странное дело, его мнимые недуги подтверждались диагностикой и заключениями врачей. Он не ограничивался одним заболеванием, собирал их в букет, но при этом боялся последствий, которые они могли ему принести, которые могли его изуродовать, причинить неудобства себе и посторонним, ввести в зависимость от помощи или лекарственных препаратов, тем самым унизив его еще больше. На некоторое время обнаруженного заболевания доставало на то, чтобы подавить чувство вины и угрызения совести. Даниил боролся со своими болячками не рьяно и подобострастно, но в точности следуя предписаниям эскулапов. Вскоре заболевание, не сильно досажая, притихало, усмирялось и теряло свое значение, приходило разочарование в его важности, сознавалось существование гораздо более тяжких недугов и несчастий, с которыми людям приходится жить и умирать; тогда Даниил забрасывал свое лечение, забывал о том, что его что-то беспокоит, и предавался самобичеванию, вновь испытывая к себе, а попутно и ко всему окружающему ненависть. Сам виноват, нечего было кликать, призывать болячку, чтобы хоть на нее да сложить с себя ответственность. Стоит, к слову, сказать, что диагнозы он подыскивал все сплошь «благородные» и приличные, подобающие невротической, тонко устроенной натуре, а еще редкие, малоизученные и неизлечимые, но чтоб симптоматика, анамнез у них непременно были изысканными, не роняющими самолюбие; заразные, ввергающие в ужас одним своим видом недуги не годились. Но зато те, что годились, служили нашему герою лишним и лучшим подтверждением бракованности собственной сущности.

Итак, его начали мучить головные боли. Поначалу голова болела раз в две недели, потом — каждую неделю, чуть позже — каждый день. Началось это после одного из выходов из отпуска. В первый же рабочий день его голову будто сжали кольцами и поместили в ней часовой механизм — так несносно пульсировала то в одном, то в другом виске кровь. Это был какой-то тугой комок, бьющийся о стенку черепной коробки, разрастающийся, постепенно спускающийся к горлу и вызывающий рвоту. Даниил не мог заснуть, а если засыпал, уповая на то, что тиски ослабят свою хватку, то наутро вставал с еще более тяжелой, словно распухшей, головой. Болеутоляющие не выручали, они притупляли пульсирующую боль, но справиться с ней до конца не могли. Даниил злился на свой организм, считал его предательски слабым, ненадежным, ни на что не годным. С месяц или полтора Даниил просто терпел, отчасти надеясь, что так резко возникшая боль так же резко может и отступить, но ни боль, ни ее спутницы — тошнота и рвота — его не покидали. Он обращался в поликлинику, проходил обследования, получал рецепты и вновь оставался наедине со своей проблемой: лекарства ее не решали, а усугубляли. Несмотря на то, что симптомы были выраженными, перемену Даниил заметил в себе не сразу — насторожиться заставил лишь изменившийся почерк. Писать вдруг оказалось трудно: сколь сильно бы Данька ни зажимал ручку, ему не удавалось выводить ровные строчки: буквы подсакивали и проваливались, как воздушные гимнасты на матах, превращались в хвостатых макак, кучно, слишком плотно сидящих друг с дружкой, а то вдруг меж ними образовывалась неожиданная брешь, коей не подобало быть посреди слова, сама горизонтальная линия — шампур, на который нанизывались буквы, — ни с того ни с сего кривился, будто ошпаренный едкой кислотой.

Даниил вновь обратился в больницу, но уже к другому специалисту; на этот раз, приняв во внимание все симптомы, Даньке назначили МРТ и по его результатам поставили диагноз. Тут Данька в первый раз очнулся ото сна.

Путаность, нечеткость, рассеянность сознания — неужели все это было не только и не столько следствием его лени, безалаберности и расхлябанности? А причина головных болей не только в постоянном напряжении и подавлении эмоций? Припомнилась вереница тревожных симптомов, вызывавших в Даньке досаду: иногда он промахивался мимо предметов — чем не следствие расфокусированного взгляда; часто спотыкался — просто неуклюжесть; про почерк и выделяющую странные пике ручку мы уже упоминали; слова куда-то вдруг девались из головы, язык коснел, мысль обрывалась, не оставив по себе и следа — то ли еще может быть от недосыпа! Даниил не придавал всему этому значения, он боролся с самим собой, негодуя и раздражаясь на себя.

Он не задавался вопросом, почему именно он, а не кто-то другой, почему в его возрасте, за что, можно ли что-то исправить, если да, то — как? Ему не нужны были ответы на эти вопросы, он уже готов был принять ту реальность, которая вдруг заговорила с ним прямо, без обиняков, поставила перед ним песочные часы. Это было жестоко, но справедливо. В фильмах и литературе герой, оказавшийся в такой ситуации, частенько вдруг прозревает смысл своей жизни, записывает свои желания и приступает к их немедленному исполнению; тут же обретаются смелость и отчаяние, откуда-то притекают ресурсы, в подружках заводится удача. С нашим героем ничего подобного не произошло. Да, наверное, нужно было что-то сделать, наверное, должны были вскипеть в нем, как пена морская, желания, наверное, как некий оракул, он тут же должен был овладеть тайным знанием отделять существенное от будничной шелухи. Но повторимся: ничего этого не случилось. Потрясения хватило на один вечер, у Даниила не открылся третий глаз, не обострилась интуиция, не появилась дополнительная энергия, с которой он бы развернул небывалую активность, да он не понял даже, чего ему хочется. Жизнь не перевернулась с ног на голову, была она конечной, так конечной и осталась, может быть, сжалась в гармошку.

Ничего не изменилось: Данька продолжал движение по своему привычному маршруту, метя и умерщвляя безжизненным взглядом столбы, деревья, здания, птиц и даже людей — они оставались неназванными, неокликнутыми, замолчанными и погружались в молочно-сизый туман, безвозвратно растворялись в нем, как непроявленные чернила.

Долго все свои переживания утрамбовывал и закапывал в себе Данька, может, рассчитывал на то, что они обратятся в перегной и подготовят плодотворную почву его мироощущению. Но время шло, а ростки не пробивались. Видать, все, что ни хоронил Данька в себе, толком не могло разложиться, ибо противно и чужеродно было природе, как полиэтилен земле. А земля ведь тоже тужится, мутит ее, выворачивает; инородность проталкивается к свету. Вот и полезло то, что не переварилось, наружу — удушенное, обслюнявленное, истерзанное — и внутри чужое, и снаружи не свое: повыскальзывали необтесанные слова. Не понятно ничего, шершаво, склизко и липко, а все ж из себя, все ж не удержать, не подавиться, не проглотить, вот и вырывались полумертвые слова, все разбухшие, размазавшиеся, растекающиеся, ни с собой не умеющие управиться, ни с друг с другом сочетаться. Они толпились и громоздились друг на дружке, как будто хлипкие захиревшие домики, покосившиеся и смыаемые селем — вот-вот соскользнут в обрыв, вот-вот канут в небытие. Ни красоты в них, ни силы, ни характера, ни содержания, никакой притягательности даже, чтоб любопытство разжечь. И ведь с чего, казалось бы: слова ведь все те же — людьми предметы в них были ряжены, людьми же обозначены, а выходило так, будто дрянной портной все не по размеру скроил и сшил: тут вроде и чувство то, а втиснуто не туда, тут вроде и глубина та, что надо, и размах верный, а с самой формой промах. Оттого короби-

лись и коверкались благородные чувства, а непутевые эмоции в мантии да при посохе на троне оказывались. Все было не на месте, все не к месту гротескно и бутафорично.

Но куда от этого деться? Пустота в душе меняла свое агрегатное состояние, сгущалась в эфир и требовала исхода. В замешательстве, в сумятице, в исступленном возбуждении Данька выхлестывал из себя слова, неточные, слабые, они вяло вылетали стрелами из неумело натянутой тетивы, встречали сопротивление воздушных масс и, лишившись инерции, ударялись оземь, не достигнув своей цели, не учуяв ее, не ощутив к ней тяги.

Данька пытается запаковать в слова впечатления от пережитого; каждое слово вызывает не изжившие себя чувства, ударяется об их колокола, отскакивает от одного, влетает в другой и порождает какофонию, отпевающую душу.

Несвязный текст, закосневшие слова и неоправданные чувства — это все, на что он способен! Тонкая игра, будоражащая кровь щекотка и сдержанность, полутона или откровенность — все это ему неподвластно, от всего этого он отрезан. Сумбур, сумятица, дрожание не только руки, но и мысли, отрывистость и пульсация — это было все, чем исчерпывалась художественная ценность, а если честно, ничтожность его жонглирования словами.

* * *

Ах, знал ли Данька, понимал ли он, что изъяснялся на непонятном, неподъемном языке не потому, что иначе не умел, но потому, что иначе не мог, потому, что за туманными фразами, запутанными лабиринтами слов, за мишурой напускного изящества, искусственности, недосказанности и обрывистости, за расточительными оборотами прятал как можно дальше себя от постороннего пытливого — или не очень — взгляда, он хотел стать недосыгаемым, улепетывал все дальше и дальше, заслоняясь армией слов, он пятился, путая след и все же боясь совсем потерять из виду человека.

Порой Даниил отступался и пятился от придуманных и ниспосланных миров, порой слова, зачатки слогов, крючки букв, их сцепления и круговерти вдруг теряли свое значение, очарование, даже лишались бессмертия и превращались в заурядную, ни на что не годную ржавую проволоку — ни дать ни взять опаленные полые стебли высоких некогда трав. Свергнутые, они обращались в закорючки, в болты и шурупы, растерявшие свои зазубрины. Они вызывали к себе жалость, какой мы обдаем, как кипятком, нищих оборванцев и калек, они расчленились, прели и тлели, виноватые, тусклые и развенчанные. От них оставались лишь хлопья дурманившего тумана.

Слова предавали его: они переставали воскрешать образы, они дышали механически, со свистом, но от них не исходило тепла, они совершали множество движений, топтались на земле и сминали все всходы, что успели до них подняться и подбоchenиться. Ах, эти слова, эти честолюбцы, эти палачи! Каждое слово — не то компрачикос, не то его жертва. В конечном счете слова, напичканные возвышенной фальшью, начинали вызывать тошноту, они будто, не зная, чем еще привлечь внимание, начинали испражняться на глазах у того, кто их призывал, чтоб неповадно было тешиться над ними.

* * *

Но подождите: что же, бросил наш герой ненавистную, бессмысленную и осточертевшую работу, посвятил остатки сознаваемой жизни самому себе? Как бы не так! Вот и сейчас поездом он следует к одной из точек хозяйственной деятельности своего потенциального клиента. Все же прогресс есть: Даниил совершенно не думает об этом.

Когда перемещаешься в пространстве, движешься и во времени. Верно и обратное. И твоей душе приходится с этим мириться.

Даньку немного знобило: не то от нервного напряжения, хотя вроде не было к тому особых причин, не то он успел нагулять на перроне простуду.

Ночь меж тем зазывала под свой покров. Данька повиновался, отдаваясь ее власти. Расстелил постель и улегся, укрывшись простыней и грязным, в бело-голубую клетку, одеялом. В конце концов перестук колес увлек его сознание в зыбкий, тягучий, но неглубокий сон. Душа, сознание, сновидение — эта троица, как трехглавый дракон, плутала где-то под металлическим брюхом поезда, наворачивалась на тонкие стальные веретена и спицы, соскакивала с них и расплющивалась под колесами, но продолжала свое безотчетное движение. Вдруг через лохмотья сознания и наслоения звуков, образов, тревог пробились чьи-то голоса, обрывки фраз и ругательства. Что-то в Даньке без его на то усилия напряглось, сосредоточилось и окаменело, не отходя ото сна. Что-то уловило чье-то возбужденное, взбудораженное состояние, копошение рядом и горячее дыхание. Над Данькой что-то творилось, свершалось с поспешностью и отягощенностью привычными, ловко выполняемыми действиями.

— Достань тряпку какую-нибудь или дай свой носовой платок, а то вдруг проснет-ся и завершит еще, — горячо, но неспешно шептал один голос.

— На, держи. Слушай, может, влить ему в глотку полбутылки крепкого? Обмякнет, проблем будет меньше, — отвечал и вопрошал другой, более раздраженный и менее приглушенный.

— Тише ты, разбудишь. Не его, так кого-нибудь.

— Так вместе с ним этого разбуженного и отправим, — ухмыльнулся кто-то, явно давая знать, что работенка ему не внове. — Так что, поить будем?

— Нет, кто его знает, что с ним градус творит. Вдруг он буян, которого потом не урезонить, только шум поднимем, хлопот не оберешься.

— А чего мы вообще об него мараемся? Пацан зеленый, денег с него не возьмешь. Много чести. Да и без нас он какой-то пришибленный, того и гляди, приключится с ним что. Малость даже жалко парнишку.

— Это ты верно подметил, но разве нас это когда-нибудь останавливало? Приключились с ним мы, так что все путем, мы лишь смазываем скрипучие рельсы его судьбинушки.

— Ну, пацан, спасибо тебе за проявленное участие, вернее, соучастие. Ты сейчас так бьешь своими плавниками и извиваешься, что не могу понять, кого ты больше напоминаешь — червяка или рыбу. Угря, что ли... Эй, — обратился он к своему подельнику, — ты смотрел фильм «Сделано в Китае»? Вот там тоже угорь был...

— Умолкни. Сначала — дело, потом про фильм расскажешь, — примирительно заключил голос.

Данька совсем не пытался вырваться из цепких чужих рук, ему в них было уютно, словно в колыбели. Почему же говорили, что он извивается? Он чувствовал себя туго спеленутым ребенком, стиснутым коконом, обклеенным скотчем, было приятно, тепло и безопасно. Руки и ноги прижаты к туловищу, шея будто заржавела — голову нельзя было никуда повернуть, казалось, что одно лишь сознание, как выдавленная начинка, могло бы выплеснуться из тела. Было легко. Еще бы — его подхватили четыре крепкие руки и куда-то несли, как некое бревно. А еще было очень любопытно: казалось, что свершается некий обряд, таинство, которое без Даньки — без жертвенного подношения — пойдет под откос. Надо, чтобы все получилось, никто и ничто не прервало мистическое действие. И все же интересно, почему никто не просыпает-

ся? Почему никто не задает вопросов, куда посреди ночи несут человека? Неужели даже проводники их не останавливают, пропустят, неужели никто ничего не сделает для его спасения?.. Но спасения от чего? И почему он сам не пытается себя спасти? Почему не размыкает век, не кричит, не стонет, не брыкается, никак и ничем не препятствует тому, что с ним делается? Безысходность и неотвратимость окутывали легким флером, уплотняя и разряжая вокруг воздух, но Даниил боялся пошевелиться, дабы не нарушить это состояние. То, что происходило с ним сейчас, было неизведано и — знакомо, неподвластно и хрупко одновременно, должно было обратить в прах планы общества и его собственные планы... это захватывало дух и спирало дыхание. Изъятый из серой будничной массы, затаив дыхание, Даниил ждал следующего шага. Он ненавидел свои подчинение, покорность, угнетенность в повседневной жизни, но сейчас был готов повиноваться, быть чьей-то безвольной добычей, смирившейся со своей судьбой, наблюдающей за ней из своего сна. Сложив с себя всякую ответственность за свое существование, он видел виновников внутреннего торжества и с закрытыми глазами. Даниил слышал мерный звук вагона, ползущего по рельсам, ненастойчивый перестук колес — казалось, эти звуки как будто закупорили сознание, оно стало непроницаемым и умиротворенным. Но вдруг что-то случилось. Лопнула и прорвалась невидимая струна, меха выдохлись, или это была всего лишь гофрированная мембрана между вагонами, она как-то еще сладко называется... «суфле» ?.. О, какое вкусное суфле ему доводилось есть в детстве, жаль, что такое теперь не продают, да и название Даниил не помнит, что-то на «Р», какое-то имя...

Вдруг сквозь вату, туманную пелену (не-е-ет, сквозь желтый старый поролон) послышались слова (такие странные, упакованные, как дорогая техника, в пенопласт и пузырчатую пленку): «Запомни, слюнтяй, жить — это всегда преступление». Кто это сказал, кто так злобно вдул ему в уши эти слова? Данька покрепче сомкнул веки, он почти зажмурился. Ах, как сладко. Страшно, очень страшно, но непередаваемо ново. Вот он сам мог стать наблюдателем, сам мог быть главным героем и главным зрителем постановки. «Ты такая же частица Вселенной, как и все прочие, подчиняешься тем же законам, что и иные физические тела, да и метафизические понятия, если только они в самом деле существуют, — так что надобно начать падать, чтобы обрести свое направление, энергию, форму, чтобы хоть на сколько-нибудь ощутить левитацию, прежде чем разбиться оземь. Помни о том, что ты — всего лишь комета этого мира, ни на что не годная, отход мирового производства, но знай и то, что все остальные — обитатели той же свалки». «О да, я всего лишь отход, я — целая комета!»

Тирада вкрадчивого, но деспотичного голоса прервалась. Перед глазами все поплыло. Не помню — глазами открытыми или сомкнутыми. Заструился дым. Сначала тонкими нитями, затем клубнями, наконец занавесил все и заглотив в себя пассажиров. Открылась дверь, стук колес стал четче и резче, но как будто медленнее. Кто-то посадил Даньку на ступени. Открылась еще одна дверь. Они оказались в тамбуре. Стоп! Мы же уже тут были, ели «суфле»... В лицо пахнуло свежим, напитанным влагой воздухом. Поезд замедлял свой ход и снова порывался вперед. Время шло все быстрее. Дело близилось к развязке.

— Скоро станция, — сказал один из распорядителей Даньки. — Минут пять осталось, если не опаздываем.

— Подождем, пока скорость слишком велика, — ответили ему.

Вот только что герою сжимало сладкой негой неизведанности сердце, томило его предвкушением и переживанием приключения, сопричастности преступлению против самого себя, против человека, против природы, против границы, пролегшей между

нею и им, против Бога, как в нем уже совершился разворот, индуцировалось возмущение, неприятие, восстало чувство несправедливости оттого, что кто-то посторонний, непричастный к нему, не имеющий на то права, такой же материальный, как и он сам, чужеродный организм пытается вершить его участь.

Как нельзя кстати, Даньку настигло одно воспоминание: это был детский сон, который случался непреложно во время каждой болезни, когда Даньку мучил жар и лихорадило. Сон не был о чем-то определенном, осязаемом и определяемом словами, он был соткан из ощущений, переживаний. Казалось, что действие происходило в мчащемся на полном ходу поезде, но Данька не мог определить своего местоположения в нем — он точно в нем присутствовал, но как будто в нематериальном виде, как будто проникший, размазанный по неодушевленному нутру, по стенкам и перегородкам; вместе с тем движение было нехарактерное для поезда — монотонно-заикленное, конвейерное (рядом с этим словом непременно вставал образ Форда — не самого Генри Форда, а его детища: лакированного, коричневого, с выпуклыми фарами-глазищами), но все время набирающее скорость. Ничего не было видно, все было залито тушью, но присутствовало знание того, что все не черное, а коричневое. Происходило что-то падение вниз под аккомпанемент странной мелодии, которую Даниил никогда не слышал наяву и не мог бы воспроизвести. Данька вдруг оказывался на грампластинке, потом вдруг перескакивал на старую кассету, длинную, приятную на ощупь ленту которой магнитофон зажевывал вместе с Данькой, ничуть не боясь подавиться. Этот сон, как уже было сказано, давно превратился в воспоминание, вздулся неожиданно, как мыльный пузырь, и уволок сознание в свою полынью. Отряхнуться от навязания Даниил смог только будучи уже на земле, скатившись в овраг насыпи железной дороги и почувствовав тупую боль и холод. Всему этому предшествовали резкий, выверенный толчок в спину, непродолжительная борьба с силой гравитации, раскрывшийся было рот и воздух, много сжатого, спрессованного воздуха, запихнутого в рот, как кляп. Данька покатился кубарем, вдыхая, заглатывая и пережевывая сырую землю, траву, мелкие камни и песок. Одежда, в которые так старательно его заворачивали, сбились и освободили руки и ноги, но не потерялись — обхваченные на поясе широким скотчем, они так и остались безвольно висеть на жертве. Данька нашел себя уже постфактум, он не помнил, как его столкнули, не помнил, что он почувствовал в этот момент, не был он и удивлен этим фактом. Ни единого следа от страха, ужаса или потрясения, голова была свежа, чувствовалось теплое покалывание во всем теле. Собственно говоря, это все могло легко объясняться: ведь не чувствовал же он боли, когда, будучи совсем еще маленьким, расшиб лоб в кровь — она так и хлестала из раны, а боли, даже легкого жжения не было, шрам, между прочим, до сих пор на месте. Кто его знает, может, организм так мобилизовался и запустил все защитные механизмы, что сумел уберечь сознание от невыносимого потрясения. Даниил осмотрел себя: он был весь в ссадинах, некоторые из них были глубоки и кровоточили. Сердце билось, как сумасшедшее, надрывно и тяжело молотило оно в грудь. Судя по тому, каким бледным, акварельным было небо, по серпу луны, которого еще не коснулся язык богини рассвета, время было раннее, где-то между пятью и шестью утра. Трава, уже пожухшая, затвердевшая, колючая, была черно-желтого, гнилого цвета. Мокрые звезды упали с неба, раскололись на миллиарды осколков и теперь впивались в кожу. Или нет? Это всего лишь щебенка и песок.

Несмотря на то, что Данька весь продрог, он не чувствовал дрожи, — может, оттого, что температура его тела была близка температуре земли. «Чушь! — одернул себя Даниил. — Ты хочешь сказать, что в тебе лишь десять-двенадцать градусов тепла?»

Не обратился же я в рептилию!» И все же он чувствовал тело земли. Родное и бесприютное, плодородное и прожорливое, в нем угадывалось шевеление жизни. <...>

Даниил перевернулся на спину, раскинул руки в стороны и, прикрыв глаза, глупо, жадно вобрал в себя воздух. На выдохе он открыл глаза, и его взору открылось чистое, без единого облачка, небо, похожее на лист бумаги. Странное небо для вступающей в права осени. «Должно быть, Болконский примерно так же лежал на поле битвы и замороженно и безвольно смотрел на небо», — мелькнуло у Даньки воспоминание о школьной скамье и тут же кольнула совесть — а ведь она, бесстыжая, закрыла глаза и спустила с рук эпизодическое прочтение великого романа (ладно в школе, но ведь и к своим нынешним годам Данька не удосужился восполнить пробел в классическом литературном образовании). «При чем тут Болконский?! — тут же вспыхнула полемика с незванными мыслями. — Ну какой Болконский! Нашел кого рядом с собой ставить и сравнивать. Нашел „баталию“ „своего“ масштаба!.. Долго ли ты тут собираешься лежать без толку?» — раздраженно спросил он у себя, но был не в силах оторваться от небесной голубизны, к которой присосался его взор. Данька не признавался себе, но чувствовал затаенную радость, как если бы там, за необъятной аквамариновой стекляшкой скрывался чей-то взгляд; ему хотелось разглядеть кого-то, кто подсматривал за ним, хотя бы сейчас, хотя бы в нынешнем его положении, даже если до этого он оставался незамеченным. Человек не может быть один, ему нужно выдумать либо Бога, либо самого себя, и неважно, что они никогда друг с другом не пересекутся, и будет стул без тени или тень без стула, а значение будут иметь лишь зеленый горошек или футбольные флажки. Данька продолжал лежать, внутри него равномерно разливалось тепло, словно после продолжительного бега. Он не думал ни о тех, кто выбил его из наезженной колеи, грубо и нагло вытолкнув из вагона, ни о мотивах, которые их к тому побудили. Мотив — это следствие логического умозаключения; в том, что приключилось с Даниилом, не было логики, скорее, был животный инстинкт, явление абсурда. Все это было неважно, вопиюще неважно. Все стало неважным, простым, неспешным. Исчезла тревога. Слишком долго державшее напряжение, на что-то отвлекшись, ослабило хватку — должно быть, утомилось и лишилось внимания и собранности. В голове наступила опасная пустота — не настолько, впрочем, пустая, чтобы не дать воспламениться любой, самой неуместной мысли и не опалить следующую, в нетерпении вырывающуюся из забытых пор сознания. Мысли вздувались, переливались всеми цветами радуги краткие мгновения и лопались, оставляя по себе лишь едва уловимую вибрацию.

Даньку со всех сторон обступила настороженная любопытная тишина — та самая, звенящая, — воздух был стеклянный, прозрачный, сжатый и расслабленный одновременно — в таком состоянии ни природа, ни дух долго находиться не могут. Такое состояние бывает после пережитого, испытанного до дна чада. Кстати припомнилось название последней станции, которое Даниил увидел перед сном, — «Чад». Наконец он заставил себя подняться, отряхнуться, осмотреться и, закутавшись в случайную безвинную свидетельницу и жертву совершенного с Даниилом преступления — одеяло, двинулся в путь. Ему было все равно куда идти, не задумываясь он о том, в какую сторону следует двигаться, чтобы достичь какой-нибудь станции и полицейского участка, чтобы вновь продавить своим существом социальную ячейку, в которую можно было обратно втиснуться. Как уже было сказано, ни документов, ни денег, ни иных атрибутов, изобличающих его причастность к социуму, при нем в настоящий момент не было. Даниил располагал лишь самим собой, а им, в свою очередь, как снутри, так и снаружи, в полной мере располагала природа. И все же при желании было до-

вольно просто добраться до какой-нибудь станции — проще простого: достаточно идти вдоль путей, до которых рукой подать, сообщить о себе, восстановить себя и ход событий, с ним произошедших, — в конце концов, все данные о том, на каком поезде он ехал, какие документы при себе имел, где пропал (а это уже с легкостью могли подтвердить проводники), по какой причине и т. д. Так что стоит признать, что положение героя было затруднительно лишь сравнительно и уж точно неплачевно. Но не то герой наш в ту минуту уж слишком растерялся и утратил поддержку рассудка, не то в его голове присутствовал какой-то план, но он не только не стал держаться железной дороги, но, наоборот, начал удаляться от нее, двигаясь по направлению к далекому еще, синееще-чернеющему лесу. Вскоре он достиг его и не без колебаний двинулся в его недра. Куда его несет и зачем? Неизвестная местность, никаких средств связи. Со всех сторон пялились деревья, и чем дальше он шел, тем сумрачнее и жестче становился их взгляд. Ветви деревьев напоминали тюремную решетку — могло статься, что его душа-птица зацепилась за них крыльями и теперь безмолвно трепещет ими и кровоточит, насаженная на прутья, причиняя себе все большую и большую боль, пытаясь высвободиться. Но даже если так, она обязана продолжать подавать признаки жизни: было бы неплохо, если бы она окликнула Даниила по имени, и они вместе освободились или упали навзничь друг с другом рядом, лишь бы вместе, не изнывая от тоски друг по другу.

Даниил брел без цели, просто так, чтобы не лишиться инерции. Ощущения безнадёжности своего положения у него не было. Не пугало его и то, что он все дальше и дальше забредал от каких-либо ориентиров.

Даниил шел в одном направлении, никуда не сворачивая, насколько это было возможно в данной местности, не возвращаясь назад, не думая о пропущенных выходах из сумрака, не сомневаясь и не рассчитывая на одни лишь свои силы. Он уповал на случай. Ему пришлось вспомнить о том, каким длинным может быть день. Вспомнил он и о том, что такое физическая боль и усталость, он преодолевал их порой с невероятным усилием: мышцы ног забивались, дыхание сбивалось, сердце стучало в ушах; Даниил продирался сквозь колючие кусты, увязал в нетвердой почве, вброд переходил водоемы, мок под дождем и снегом, но не выбивался окончательно из сил, не опускал руки и не предавался отчаянию. Может, оно еще было впереди, а может, он уже был «по ту сторону» отчаяния. Как бы то ни было, он двигался вперед методично и твердо, предвкушая окончание этого путешествия, но не торопя его.

Пейзажи сменяли один другой: были пресные, водянистые, скучные виды, напускающие уныние и ворующие силы; но иногда природа проявляла свое благодушие и баловала потрясающими полотнами. Ближе к вечеру одна из таких замечательных картин развернулась перед Даниилом: металлический блеск закатного солнца, пронизывающего вспухшие, отяжелевшие грязновато-розовые тучи, слепил глаза и вынуждал зажмуриваться, в то же время возбуждая любопытство и маня взор сочными красками, щедро, слой за слоем накладываемыми небесным реставратором на осунувшуюся действительность; мазок за мазком — и все вдруг оживляется, румянится, как корочка запеченного пирожка, смазанного маслом. Вкусно... вкусно вдыхать в полную грудь этот осенний вечерний воздух, разлившееся вокруг мощное увядание, торжественные, пышные похороны природы, наверняка знающей о скором своем возрождении.

Наконец где-то впереди, когда все кругом померкло и потускнело, словно затянувшись в матовую защитную пленку, и нелегко уже было определить расстояние на глаз, сквозь ряды деревьев забрезжила янтарная нитка света: то были окна низеньких домов.

Светлая полоса пролегла над и под растушеванной линией горизонта: должно быть, дома тянулись вдоль берега некоего водоема. Радоваться бы близости человека, но изнеможенного Даниила тут же омрачила мысль о необходимости вновь устанавливать связи с людьми, делать усилия, чтобы быть понятным, напрягаться, чтобы понять других, просить о помощи, быть кому-то обязанным; но все же было более приемлемым искать приюта у чужих людей, рассчитывая на их сердобольность, нежели оказаться в полицейском участке и — хоть и в полном праве — устанавливать, доказывать и защищать свою личность, оправдывать себя, обвинять кого-то, требовать чего-то... Вновь обретать себя, свою личину, а вместе с ней прошлое, историю, уязвимость, отношения... Нет! От нахлынувших мыслей по телу пробежала дрожь возбуждения и бросило в холодный пот. Сейчас Даньке была удобна и приятна его разъединенность с самим собой, со своим обозначением, со всеми теми гвоздями, которыми он был приколочен к ненавистному внешнему миру. Так чувствовалось, что искренним в исполнении нашего героя могло быть только молчание; любое слово, протиснутое через сжатые до боли зубы, вывороченное непослушным языком, значило фальшь, подличанье и лицемерие. Любое слово заочно растаптывало его.

Оставалось идти не так долго — может, километр, может, два, когда каждый шаг Даниилу стал даваться труднее предыдущего, ноги словно увязали в цементе. Но связано это было не с физической усталостью, а с внутренним сопротивлением — такое он часто, да практически всегда испытывал, когда шел на работу. Наконец он пересек железнодорожные пути (снова они — уж не кругами ли плутал Данька?), и оказался совсем рядом с людьми. Нужно лишь перейти мост через реку или озеро, чтобы оказаться в жилой местности. Судя по всему, он вышел к какой-то рыболовецкой деревушке или поселку. Даниил ступил на скрипучий деревянный мост в заплатках. Идешь по нему, а он кричит, будто ты продавливаешь живое, хоть и иссохшее тело, да противно, как Баба Яга, отзывается на каждое движение. Одна доска поднимается, другая опускается, так, пожалуй, все косточки пересчитаешь. По обеим сторонам зловеще сверкала своей чешуей, словно огромная рыба, темная, густая, непроницаемая поверхность затхлой воды. Воды ли? Глаз видел густое черничное желе. Воздух, отяжелевший от сырости, наваливался на Даниила своей незримой тушей и, стесняемый чужим присутствием, нетерпеливо толкал в спину. Приблизившись, Даниил мог разглядеть, что населенный пункт позади, как забором, обнесен лесом. Ни души не было в поле зрения. Даниил слышал плеск воды, уютное кваканье лягушек, чей-то глухой нырок, звук листа, опавшего в воду, игру ветра с волной, треск веток, редкий говор птиц. Пахло тиной. Мост был очень низкий, казалось даже, что в середине он выгибается и точкой экстремума достает до самой воды. У кромки воды, на плохо очерченных берегах, на деревянных подмостках различались силуэты лодок и катеров. Все видимое ныне поселение составляли десятка два-три одноэтажных построек, вытянувшихся в более-менее стройную шеренгу. Даниилу оставалось призвать на помощь удачу и бросить жребий — кто знает, в каком из этих домов готовы были принять нежданного путника без денег и документов. Интересно, что бы сделал кто-нибудь на его месте? Господи, насколько решительней и уверенней в своих силах стал бы наш герой, предоставь ты ему возможность наблюдать постороннего в такой же ситуации: ведь тогда бы возникла точка отсчета, шкала измерений, возможность сопоставления. Но не приведи ему случая столкнуться с образчиком изящества и спокойствия, приводящего в изумленное восхищение, — тут наш герой сдуется: плечи его устремятся к центру тяжести, дабы создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы все существо всосалось без остатка в как-нибудь удачно подвернувшуюся воронку.

Но стоит ли о несбыточном? — в сию секунду нет ни одной души, которой можно было бы противопоставить самого себя, которой на глазах Даниила предстояло бы совершить тот самый выбор, к которому он сам себя привел.

Итак, Даниил остановился и принялся изучать обстановку. Из некоторых домов и дворов доносились голоса, смех, музыка, иные же мирно почивали за наглухо задернутыми шторами. В одних окнах горели огни и мельтешили тени, другие пребывали в оцепенении. Последние удостаивались наиболее пристального внимания Даниила, будто из черни можно было скovyрнуть неприметный знак гостеприимства. Ощупав вереницу домов напряженным взглядом справа налево и обратно, пройдясь по остриям крыш и заборов, Даниил наконец принял решение и двинулся в сторону одинокого дома, отстоящего от других немного на отшибе, неосвещенного. Угрюмая, молчаливая, холодная, какая-то безжизненная, эта постройка манила Даниила в свое лоно отрешенностью, отстраненностью и как будто усталостью, позволяющей не ожидать ощутимого отпора нежеланному путнику. Должно быть, в свое время это жилище было вполне добротным, красивым, уютным и добродушным, ибо оно и окружавший его забор сохранили по сей день признаки здоровья: основательность, крепость и опрятность — ничего не накренилось и не прогнило, не хватало совсем немного, чтобы проглянул румянец и проступило теплое дыхание очага и довольства. Но это «совсем немного», по-видимому, было труднодостижимо, дом стоял, стиснув зубы, и из последних сил держался, чтобы не зарыдать — такое тягостное впечатление он производил, таким унынием, удрученностью и безнадежностью веяло от него. Но было темно, вся эта фантазмагория могла и привидеться, и почудиться.

Даниил уже достиг ворот и, поколебавшись, постучал в них. Немного постояв и помявшись, но так и не получив ответа, он постучал громче и подольше. Ни шума шагов, ни лая собаки, ни единого признака человеческой реакции на беспокойство. Одни лишь тени, деревья, трава учуяли незнакомца и засуетились, зашептали что-то друг другу, заматались, прося совета и помощи. Даниил взялся за ручку двери — разом все смолкло, вытянулось и напружинилось. Легкий толчок от себя, и в аутентичный мир ступила нога чужеродного организма. Данька не переставал думать о собаке, которая могла его здесь подстергать. Но весь двор вместе с его едва различимыми постройками, деревьями, заборами, пнями, завалинками немотствовал, лишь сердце гнало кровь к вискам и гулко ухало, да еще клокотало в горле, но Данька не смел сглотнуть. Не встретив отпора и сопротивления, Даниил, крадучись, словно вор, осторожной мягкой поступью, медленно, неестественно пружинисто, направился в потемках к крыльцу дома, с трудом, впрочем, ориентируясь в пространстве, боясь споткнуться, создать шум, растянуться. Вытянув вперед правую руку, он ощупывал ею воздух, как дотошный врач, пальпирующий плоть, пытающийся обнаружить новообразования, но пока ни на что не наткнулся. Было не так уж темно, чтобы совсем не различать силуэты, не отделять менее темное от глухой черноты, но в глазах Даньки роились мошки, которых в данный момент не могли бы слизнуть лучи даже солнца в зените. Небо было облачно, ни единой звездочки, ни луны. Мошкам удавалось немного оттянуть на себя внимание от страха и стыда, сопровождающих Даниила. Ни одного обозримого источника освещения — неужели в этом доме никто не живет? Неважно, лишь бы найти место, где можно прикорнуть, да перед этим смочить горло и полакомиться хоть корочкой черствого хлеба (да, щепетильный гурман в Данииле совсем сник). Данька тенью скользил по чужому двору, но тень любит притулиться к поверхностям, так что в конце концов и он очутился возле двери, потянул на себя ручку, ступил за порог, успел заметить ступени и погрузился в полную темень. Надо сказать,

что тут все было крайне благожелательно, дышало уверенней, даже и не съезжилось боязливо при виде незнакомца. Было тепло, отдавало совсем чуть-чуть сыростью, но в целом обволакивало приятным мшистым уютom — как будто кто-то сунул тебя за пазуху. Но то было лишь на одно мгновение — показалось. Уже в следующее стало как-то тесно и душно, словно в телефонной кабинке переговорного пункта его детства — должно быть, темень хотела его выдавить, как некую занозу, уткнувшуюся в мирный сон дома. И точно: половицы где-то скрипнули, дом словно очнулся от дремоты, оправился, отряхнулся и вздохнул. Было не по себе: кто же ложится спать, оставляя все нараспашку? Но что делать, какой есть выбор (хотелось, чтобы его не было): дрожь от холода и страха, изнуренный, сомневающийся Данька продолжил вторжение в чужой мир, втуне алкая тепла и еды. Не напрасно же он сам пришел к человеку, его усилия должны быть вознаграждены! Бессмысленно в подробностях и красках расписывать каждый шаг нашего героя (тем более что на разнообразии в красках не приходилось рассчитывать — с лихвой хватит одного тюбика черной гуаши), отметим лишь, что после шараханий, тыканий, задеваний непонятно чего он сумел найти источники утоления и жажды, и голода (вода, хлеб, сыр и помидоры прекрасно справились с этой задачей). Поглотив нехитрые съестные припасы, Данька, так и не познакомившись с хозяевами, забился в какой-то чуланчик и, не помня себя от усталости, погрузился в глубокий здоровый сон, едва сомкнув веки. Ему ничего не снилось, если не считать живой и пластичной темноты. Она забралась в подсознание, мягким, податливым, обмякшим небом, расстелившись невесомой пуховой шалью. Это была изумительная бессловесная ночь, пустая, без снов и без тревог.

Разбудила Даниила пунктуальная кукушка, выдвинувшаяся ровно шесть раз из своего темного металлического дупла, сосредоточенно, туго и методично оповещая о времени, являя собой часть часового механизма, призывая к дисциплине и бережливости в отношении тонко нарезанных секундных долек, сколь кислы бы они ни были. Сделав свое дело, она умолкла, затем послышался непродолжительный щелчок — это захлопнулась дверца в ее жилище, дабы никто не помешал ей в ближайшие полчаса заниматься своими делами; когда следует, она вновь выпорхнет и безупречно выполнит свою рутинную работу. Тишина, кажется, сильно притомила, так что не успела она продержаться и с полминуты, как опростоволосилась и надорвалась — все же не она была владычицей этого дома: послышались чьи-то частые нетвердые шаркающие шаги. Даниил, открыв глаза, обнаружил себя лежащим на деревянном полу в скрюченном положении рядом с железной койкой, заваленной матрацами, подушками и одеялами. Комнатушка действительно была не то чуланом, не то кладовкой; судя по всему, ею не так часто пользовались, хотя была тут и небольшая тумба со старым тяжелым телевизором с выпуклым экраном (не то «Сапфир», не то «Рубин»), и старый же холодильник «Бирюса» — небось все в рабочем состоянии (его знатное урчание не пробилось сквозь железобетонный сон). Все содержимое вместе с Данькой окружали деревянные стены, выкрашенные в цвет морской волны. Маленькое окошко — не единственная, правда, щель во внешний мир: среди досок виднелись многочисленные просветы — занавешено темной плотной тряпкой. В занавеску и щели тонкими спицами вонзались и расплзались по комнате лучи солнца — они как будто делали дому живительные инъекции, дабы растормошить его и поднять на ноги, и он, чувствуя заботу, боясь ею пренебречь, кряхтя и оправляясь, усаживался, расправлялся, разминал свои члены.

Между прочим, шаги приближались к Даниилу. Он напрягся, прекрасно понимая, что деваться ему некуда: ступив в каморку, не обнаружить его было невозможно. С дыханием случилось то, что называется «сперло», холодная дрожь трусила по телу и, не до-

бежав своей дистанции, застряла где-то меж лопаток. Сердце, видимо предприняв попытку сбежать, прыгнуло в горло, но промазало и застряло где-то сбоку, в шее, зажав собой выдавившуюся вену. Опасный момент. Шаги умолкли, ступни, направленные в сторону Даниила, замешкались на пороге. Три-четыре удара сердца — не больше — скрипнула половица, и шаги возобновились: пришаркнув, как будто кому-то отдав честь, они медленно, нерешительно, как будто пятась задом наперед, стали удаляться, настигли невысокой лестницы, навалились на ступени и вышли вон из дома — прозвучало старушечье ворчание двери с коротким визгом. Данька боялся выдохнуть. Некоторое время он так и сидел не шелохнувшись, опасаясь, что в доме есть еще кто-то. Выходит, ночью лишь по счастливой случайности он не наткнулся на хозяев дома. Немного погодя Данька решил снова попытать удачу: отворил дверь своего тесного убежища и высунул голову в проем. Натянутая тетивой тишина. Либо дома никого не осталось, либо домочадцы еще крепко спят. Напротив себя Даниил увидел вылупивший свои стеклянные зенки большой, советского пошиба, сервант. Кряжистый, тараканье коричневый, неотесанный и неуклюжий, он бережно хранил в своих недрах всякую посуду, вазочки, пластмассовые коробочки из-под тортов, плетенные из открыток корзинки, сами же открытки, две большие нераспечатанные конфетные коробки, нераспакованные спичечные коробка, шкатулочки, еще какую-то кухонную утварь и всякую мелочь. Все было чистым, опрятным, аккуратно расставленным на белых (ну может, немного посеревших) салфетках. Даниил осторожно и бесшумно пробрался к серванту, достал конфеты, печенье, хлеб, халву, что-то рассовал в карманы, что-то оставил в прижатой к туловищу руке. Пожалуй, голодная смерть нашему герою в обозримой перспективе не грозит. Даниил понабирал всего, что уместилось в руках и карманах, и юркнул обратно в свой угол. Там он, неумытый и растрепанный, спешно проглотил часть урванного и почувствовал насыщение и удовлетворение. Не мешало бы эту сухомятку чем-нибудь запить. Ночью он наткнулся на ведро с водой где-то в коридоре, но нынче его не увидел. Ладно, жажда пока не мучила, можно и потерпеть до удобного случая. Кое-какие первичные желания были удовлетворены, настало время проснуться любопытству. Интересно, сколько человек живет в доме? Пока кажется, что один. Мужчина или женщина? По шагам, вздохам и кашлю — мужчина, нет сомнений. Молодой, средних лет, пожилой? Обстановка была простой, строгой, угрюмой, холодной и безрадостной, но никак не запущенной. Наверное, не совсем еще в годах человек, а если и старик, то не дряхлый. «Интересно, а найдя меня — не смогу же я вечно ускользать от него, — не пришибет ли меня хозяин?» — думал Даниил, гадая, насколько крут нрав хозяина, скоро ли он вернется, пошел ли он на работу, на рыбалку, в лес или куда-нибудь еще или просто вышел во двор. Данька подошел к занавешенному окну и осторожно приподнял край шторы, окинул взглядом прямоугольник внешнего мира: солнце стояло высоко, играло бликами на коньке крыши напротив стоящей хозяйственной постройки — наверняка сарай, жухлая трава, как щетина небритого детины, щекотала воздух и почти не мялась под пружинистыми шажками куриц и уток, деловито расхаживающих по двору. То, что выглядело сараем, стояло будто нечто одушевленное на паперти и просило милостыню, глядело гноющимися блеклыми глазами в сторону более крепкого собрата, подбоченившегося удалого крестьянина, не достаивающего взором немощь и хворь, и подавляло в себе желание вздохнуть от ощущения бедственности своего положения, но в то же время стеснялось тем самым обратить на себя внимание. Обзору поддавались также сколоченный из досок туалет, стоящий поодаль справа у забора, и умывальник под самым окном. Хозяина было не видать.

Данька отольнул от окна, с ногами залез на койку, удобно устроился и призадумался. Что ему следовало делать дальше? Пуститься в дальнейшее странствие или остаться здесь, в месте, которое ему едва ли сулило спокойное и сытое существование, скорее, должно стать его ловушкой, если только он не успеет вовремя выбраться (ибо кому он нужен?)? Но куда ему податься, где искать приюта и укрытия? У него нет знакомых, которые его бы приняли и не настояли на возвращении в обычную жизнь, они ни за что бы не смогли его понять... Да что там, Данька сам не мог себя понять: к чему побег, вся эта конспирация, сокрытие свершенного над ним преступления — тому не было логичного объяснения.

Даниил находился в странном положении. Мог ли он чувствовать себя свободным, не имея при себе ни документов, ни денег, ни собственного угла, ни одной личной вещи, ни даже отражения в зеркале? Сомнительно. Он был и теперь оставался полностью зависим от людей. Если хотите, еще более, чем когда-либо. Если хотите, он уже, вспоров чужую ночь и сделав непрошенный стежок в чужом утре, начал паразитировать на чужом бытии. Может ли быть место волеизъявлению там, где все должно быть реакцией на внешние обстоятельства, там, где каждое движение, каждое желание следует поставить в зависимость от другого человека? Нельзя выразить эмоцию, выплеснуть негодование, нельзя проявить себя, ибо проявлять нечего — тебя нет. О да, Даниил больше не каторжник, не холуй, не раб вороха бумаги и беспощадного времени, вместо этого он прямо сейчас обращается в невидимку, в привидение, в наблюдающего, подсматривающего, подслушивающего, в зрителя, которому не положено даже освистать актеров. Многому предстоит научиться Даньке: его движения должны обрести бесшумность, самоглушающую округлость, пружинистость, эластичность, им следовало зазамшеветь, да и всему его существу нужно стать пластичным, сосредоточенным, тихим, терпимым и терпеливым. День будет сменяться ночью, ночь — очередным днем, а у Даньки будет одна цель — не быть раскрытым. Есть тени — в них нужно вписаться.

И что же, наплевать на неизменный, вопиющий вопрос, вновь расправляющийся, вытягивающийся во весь рост, хрустящий суставами (не своими), надрывающий сердце и колесующий ум: «Зачем?» Зачем Даньке все это, зачем чужая жизнь, зачем комканье и утилизация своей? <...>

Данька снова проигрывает времени: вот его снова запикивают в какие-то очертания, укладывают в какой-то футляр не по его меркам.

* * *

Даниил решил: отмахнувшись от доводов рассудка, уповав в очередной раз за эти дни на капризный случай, на провидение, на постороннюю волю, тая где-то на дне души или совести причины, повлекшие столь удивительное свое поведение, и не давая себе труда осмыслить его возможные последствия, он — остался. Громкое заявление для того, чье решение велит не высовываться и не шуршать. Даже мыслями.

Что ж, будем благодарны герою за отсутствие долгих колебаний и в свете принятого решения отведем дальнейшие строки подробно описанию той обстановки, в которой Даниил себя добровольно замкнул. Это будет какое-то круговое, сферическое описание, опоясывающее нашего героя, и вместе с тем диффузное, наступающее на него со всех сторон, напирющее из разных углов, как будто стремящееся выдавить его из груди вещей, дабы заявить о его существовании. Покрывая нашего героя, опасаясь стать виновниками его разоблачения, раскрытия инкогнито, мы (кто такие мы?) пре-

доставим ему биться о внутренности деревянного пристанища, пока чихом, кашлем или отрыжкой его не исторгнут наружу. Благо было обо что биться и на что натываться: поналеплено множество маленьких окошечек, занавешенных белоснежным, но старомодным тюлем; ажурность постройки позволяла световым пучкам, равно как и ветру, пронизывать ее насквозь. Были и перегородки-преграды: комнату делили на две части — одну больше и другую поменьше — морщинистая выбеленная печка и советского почина светло-коричневая лакированная стенка. И не в меру наштукатуренная печка, и молодеватая стенка будто были живыми: они создавали эффект чьего-то присутствия, стояли скромно, потупив взгляд, но невольно оказывались свидетелями всего происходящего в доме; не исключено, что эти два самых массивных предмета составляли странную пару. Может быть, кто-то так же подумал, глядя на них, и повесил между ними тонкие аляпистые занавески. Далее пространство перестает быть сплошным, цельным, непроницаемым, все равно что волна воображения нахлынула на сознание и как-то не спешила с него скатиться, залепляя его мириадами пупырышек. Это слабое место в ткани повествования, прохуdivшееся, истлевшее, расслаивающееся на нити, да и те рвутся. Это не то лакуна, не то ложбинка, теснина, устроенная бесхитростными вещами, беспорядочно и бессистемно бросающимися в глаза, как-то: уже обозначенная печка, темно-коричневая газовая плита, два стола (поменьше — под бак и ведра для воды и побольше — для одиноких трапез), два подоконника, деревянный табурет, дверь, задняя стенка шкафа, обтянутая тонкой материей в несуразный цветочек. Вот и все, что нужно для ловушки. (Весь обзор завалило мягкими тюками, никуда от них, пожалуй, и не деться.) Ах да, чуть не забыли о стенах — чистых, выбеленных, брусчатых. На противоположной стороне обитали старый деревянный шифоньер, скрипящий при каждом ступании на половицу, угодившую под его грузное тело, потрепанный диван, укрытый идеально разглаженным покрывалом (на такой страшно было садиться — не обладающий тайными знаниями ни за что бы не привел его в исходное состояние), обеденный стол, пара кресел, тумбочка с телевизором, два стула и еще два табурета. Под столом стояла грузная, но изящных форм швейная машинка, томно и стыдливо опустившая голову, — лошадка, бьющая копытом и готовая умчаться вскачь, сверкающая глянцевыми черными боками. Породистая вещь, но, видимо, давно вышедшая из употребления. На нижней полке стенки стоял, как-то уместившись, запыленный патефон. Игла его почему-то вызывала ассоциации со стоматологическим орудием, и от этого по зубам пробегала мелкая дрожь. Невольно передергиваешься. Ну и немного мелочей: вазочки с искусственными цветами, черно-белые фотографии на стене, вычеканенная картина, вязаная игольница. Подоконники уставлены простыми броскими цветами в незатейливых горшочках с подложенными под них кружевными салфетками. Все безвкусное, горькое, а вместе с тем такое особенное, такое хрупкое, таинственное, осмысленное, как рисуемые детским воображением колыхания и шевеления из старательно замешиваемых в густую жижу теней и света на чердаке соседнего дома. Даниил, движимый впечатлением детского воспоминания, подошел к окну, но взгляд, уже отвлеченный более броской картиной, сорвался с крыши и острым лезвием заскользил по водной глади, сфальцованной с небом и бархатистым синим лесом. Так размеренно и незаметно было движение деревянных и моторных лодок по гофрированной поверхности, что Даньке казалось, что он наблюдает статичную картину. Он долго еще смотрел в окно как замороженный, переходил от одного окна к другому и любовался полотнами, заключенными в них. Густыми, невпитавшимися мазками выпячивалась, маслилась и струилась природа, переливалась охрой и опалом, горела рубином и цитрином; величественная

и равнодушная, яркая и скромная, жестокая и незлобивая, она приковывала взгляд. Утомленная и растрепанная, она напоминала в своем сегодняшнем, осеннем наряде (стоило лишь приглядеться: там точно были опущенная на лицо вуаль и сетчатая юбка, черные перчатки по локоть и бордовый вельветовый жакет) женщину бальзаковского возраста, исполненную энергии, но разочаровавшуюся, рвущую и мечущуюся в тихом иступленном негодовании, едва сдерживающую свои стенания и вопли. Легкость, трепет стебелька, нежность лепестка, невесомое дыхание и лепет — все снесено, весь этот летний налет улетучился, словно сдутая с крыльев бабочки пыльца.

Наш герой, увлеченный безмятежным жадным созерцанием беззастенчиво раскинувшихся перед ним видов, лишился бдительности и ощущения времени. Потрясающее чувство — будто спрятался ото всех, но — мимолетное, оставившее, правда, после себя приятное послевкусие: спокойствие и умиротворенность. Облаченный в них, как в доспехи, Данька оторвался от подоконника, послонялся немного по дому, выпил чаю, вымыл за собой кружку и забился обратно в свой угол. При этом он был совершенно беспечен, ни о чем не думал, не ощущал ни страха, ни беспокойства. Хорошо и спокойно, раскованно. Не клонит в сон, не цепенеет тело, не отекают руки, и не пухнут пальцы.

Ничего не делать — не такое уж простое занятие, но сегодня оно удавалось Даньке. Новизна обстановки и положения дарила массу впечатлений, прихотливо растягивающих и сжимающих пружину времени. Скучно не было.

Часовые гирьки в виде шишечек сползли в самый низ, а хозяин все не возвращался. Кто-то обрабатывал небесную рану заката, разбросав повсюду клочки посеревшей ваты; рана зарубцовывалась; потихоньку спускались сумерки — часы отбили половину седьмого вечера. Данька почти вальяжно сходил на улицу, вернулся домой и, решив хоть немного состорожничать, расстелил себе постель под кроватью — место было удобное, тенистое, ждало и зазывало Даньку в свои объятия. Он забился под железную решетку кровати, укутался теплым одеялом и стал ждать, прислушиваясь к доносящимся с улицы звукам. Монотонный шум, ненавязчивый и приглушенный, действовал усыпляюще, но не давал сознанию закрыться в створках своей раковины и перенестись в дебри воображения: как поплавок, оно балансировало на грани. «Интересно, здесь есть мыши?» — поплавок дернулся было вверх, но махнул на все несуществующей рукой. Прижимистый полумрак и мшистое тепло придавливали тело и сознание, дергающееся как беспокойный кошачий хвост. Спустя примерно час Даньку всего, без остатка, спеленал сон, увлек его от новой реальности, такой неизведанной, глубокой, прозрачной, непотершейся и необтрепанной, такой, которую еще предстояло разнести и к которой нужно было приноровиться. Тому залог — время и развитие событий. А пока Данька спал без снов. Лишь шелест деревьев слышался в его голове да весла бились о деревянный корпус лодки (или то был звук песта, ударяющегося о дно и стенки ступы?). Было в этой односложной мелодии умиротворение, но вместе с тем и нечто грозное, предупреждающее. Где-то здесь была пучина, готовая разверзнуться при неверном шаге или неверной мысли? И все же это было чудесно. Если бы Данька вышагнул из своего сознания, то увидел бы себя, спрятанного в гнездо, как птенца, который вот-вот мог вывалиться и разбиться, но который, удержавшись, мог и взлететь.

Вдруг в хрусткую скорлупу сна с размаху влетел какой-то грохот. Ушибленное сознание потирало будущий синяк и, заслышав звук натягивающейся пружины, пыталось выбраться из дверного проема, дабы избежать участи быть прищемленным. Бьют наотмашь. Больно. Данька дернулся от резкого пробуждения. Широкий, забористый

скрип и подлый короткий хлопок — кто-то вошел. «Странно, что хозяин не запирает дверь, даже когда отсутствует так долго», — осенило Даньку только сейчас. Послышались шаги, вдавливающиеся не то в деревянный пол, не то в самую подкорку Данькиного сознания, прерывистые, распределенные как-то диффузно (в голове возник образ тетрадного листка в клетку с изображением функции Гаусса—Лапласа с так называемым «хвостом»), тяжелые, медвежьи, переваливающиеся из одной стороны в другую, потом было два-три быстрых неверных шага — такие нередко заканчиваются полной капитуляцией перед силой гравитации, но не в этот раз — случилась остановка. Крашенные доски пола застыли в напряжении. Вот кто-то уперся ладонью в стену, вот этот кто-то глубоко вздохнул, пробормотал что-то невнятное, усмехнулся и вновь засеменял — уже к массивной двери, ведущей в жилую часть дома. Никем не придерживаемое тяжелое, обитое войлоком выбеленное полотно размашисто ухнуло на свое место, плотно, без зазоров, только что не герметично, укрыв собой дверной проем. Словно схваченное льдом, все замерло; пропал даже ход часов. Данька не услышал, как человек, не снимая с себя верхней одежды, упал на кровать без чувств в пьяном угаре. Данька ничего не слышал, он был оглушен.

Данька долго лежал, вслушиваясь в тишину. Хотя она не была вовсе непроницаемой — была усеяна множеством звуков: без устали стрекотали сверчки, крылья каких-то насекомых ударялись в окна, лаяла собака, методично включалась и выключалась кукушка (да-да, дело было не в механизме: неугомонные часы дробили, линовали, очерчивали пространство и расфасовывали время в чайные пакетики), пришепетывал ветер, туда-сюда сновали грызуны, дом вдруг испускал протяжное скрипучее дыхание, играя суставами — половицами, просыпался и бухтел холодильник. В оркестре, исполнявшем мелодию ночи, ничто не фальшивило. И не могло быть иначе — ночь распорядилась туго натянутой струной в виде Даньки. Он так и не уснул: утомленное сознание спотыкалось, но, бродя по своим излучинам, обходило все бреши, уготовленные нежной и сильной рукой Морфея. Темень была густа и непроглядна, как будто выдавлена из тюбиков с масляными красками, — с такой не встретишься в городе.

Но даже такая ночь — шуршащая, живая, пластичная и тягучая — имеет свой исход. Небо, как губка, промокнуло и втянуло ее поглубже в себя и прояснилось карандашной серостью. Даниил, снедаемый горьким любопытством и — как следствие его неудовлетворенности — внушаемым буйной фантазией страхом, вылез из своего укрытия и, стуча зубами от утренней прохлады, направился в ту часть дома, в которой спал хозяин. Как можно аккуратнее одолев дверь, Даниил шагнул в теплые недра деревенского дома. Едва Даниил переступил порог, ему в нос ударил тяжелый, влажный тошнотворный запах — он сразу его узнал: смесь алкоголя со рвотой — так пахнет отчаяние. Даниил был не в том состоянии и положении, чтобы оценить окружающую обстановку последовательно и целиком, она угловато вдвигалась и впиралась в него частями, где-то вонзалась острыми, а где-то коржила тупыми краями.

Диван, стоящий у окна справа, расстелен в просторную кровать со смятой простыней, придавленную у изголовья большой подушкой в несвежей наволочке, там же валяется перекрученное, как жгут, одеяло. В левой стороне домашнего нутра, отгороженной печкой и служившей кухней, слабо горел бессильный свет, защемленный и раслаивающийся под наваливающейся сероватой голубизной, огибающей замысловатые загогулины ветвистых деревьев и втискивающейся, как нечто студенистое, вонзающейся, как тонкие ледяные иглы, в полости дома сквозь многочисленные оконца. Далее... а что далее? Даниил заметил на полу, чуть правее от окна (какого из окон?), какое-то быстрое и мелкое движение — наверняка насекомое, но чтобы убедиться, присел

на корточки и стал рассматривать. Да, это была всего-навсего муха, в меру упитанная, обыкновенная, без опознавательных знаков. Только завидев Даниила, ощутив на себе его дыхание, как сильный порыв ветра, она вовсе не поспешила ретироваться, взмыв в какие-нибудь потолочные высоты, а осталась на полу, изменила лишь направление своего движения. Даниил пригляделся и тут же понял, по какой причине цокотуха не покинула своего места: отсутствовала часть левого прозрачного крылышка, видимо, этого увечья хватило, чтобы утратить способность летать.

Ранее мы с Данькой уже успели обследовать обстановку этой комнаты, но некоторые вещи упустили из виду. Например, от его внимания ускользнул легкий ковер с золотистой бахромой, занавешивающий две стены, с изображением молодых оленят, вытянувших в изящном изгибе свои шеи и щиплющих травку. Лишь один лопухий олененок, внимание которого отвлек некий шум или движение, оторвавшись от своего занятия, стоял, глядя как будто внутрь дома немигающим взглядом своих невинных, четко очерченных глаз, обрамленных длинными ресницами. Надо сказать, что олененку этому повезло меньше других (а может, больше? — к чему решать за него?): его двумерное тельце оказалось расправленным на двух стенах, словно картинка, размещенная на двух книжных страницах; так олененок оказался вогнанным в угол. Что-то нехорошее было в этом углу. Бессмысленный угол, а в него и забивается воображение — что ему там, что за блажь приставать к чужим стенам — неужели вновь горячка? Ах, как глупо, как несуразно: застыть в чужом углу и преломиться. Странная складка — складка дома, складка сознания, складка памяти... кажется, что-то все-таки сильно прищемили, хоть стены — это не книжный переплет, — оттого и эта боль в голове и гудение в ушах. Даниил смотрел на оленя, олень смотрел на Даниила. Похоже, Данька себя выдал. Не зная, как спрятаться от невинного взгляда, Даниил зажмурил глаза — и зря: олень в негативе проявился резче и ярче: весь в подвижных мушках, он утратил наивность, влажно сверкавшую в его глазах, как драгоценные камни, — теперь глазницы, будто выковыренные, уставились потусторонней рассеянной белизной. «Моя душа — олень громадный — псов обезумевших стряхнет...»² «Что за ерунда, откуда эти строчки, обрывки чьего мира вновь занесло в мои мысли? А-а-а... Набоков, Сирин, Цинциннат... Серпантинные тексты, серпантинный смысл! Опять чужеродная заноза вонзилась в мое сознание! Все чужое, все суррогат, ничего своего!» — Даньку как-то резко охватило раздражение, какое нападает на человека, помещенного в духоту, сжимает в тесных объятиях, но спустя немного времени отпускает. Впрочем, пока не отпустило. На шею вползло и уселось, свесив ноги, проклятое напряжение, которое вроде как соскользнуло давеча, не удержавшись, с Даньки, когда его бесцеремонно выдворили из теплого, утрамбованного душами и мясом, предельно осязаемого вагона. Отсутствующий взгляд оленя ослеплял и буравил Даниила. Даниил пытался вспомнить оленя. Олень его уже вспомнил. Вспомнить, видимо, было что. Даниилу часто приходилось видеть диких северных оленей, он даже катался в санях, запряженных крепкими, с размашистыми, ветвистыми рогами, оленями с клубящимися в сорокаградусный мороз парами дыхания; у него хранилась старая фотокарточка, на которой он запечатлен восседающим на чучеле оленя. Что еще?.. Пимы, да, все свое запорошенное снегом детство он проносил пимы. Они были скользкие, твердые, иногда натирали пятку, но зато невероятно теплые, как ему довелось позднее понять. Все, присутствие этого благородного грациозного животного в жизни Даньки на этом заканчивалось. Все остальное должно было быть заимствованным, краденым, списанным и срисованным. «Но что ж этот олень так пристально глядит на меня?» — недоумевал Данька,

² «Олень», В. В. Набоков.

не в силах и сам расстаться с назойливым видением. Эх ведь понесло-то — все одно, что приглашение на казнь получил, — только им Данька мог бы оправдать перед собой такое вот иступление чувств и мешанину сознания, блуждающего среди случайно захваченных и срыгиваемых образов. Животное неподвижно, Данька — тоже. Что за ерунда! — так и хочется наблюдателю воскликнуть и толкнуть нашего героя в спину: нашел время и место развлекаться оптическими аберрациями в подсобках своего бессознательного!

«Зачем, зачем же *он* своего Лужина на дрова усадил, зачем на то же место, что и Достоевский Голядкина? Неужто других мест не нашел, к чему эта тавтология, этот симулякр? Настолько героя своего невзлюбил? Или нет, не так: на, смотри, вот как герой-то должен на поленьях сидеть, вот какой герой на поленьях право имеет сидеть! На поленьях сидеть — это вам не на скамье, обитой бархатом или велюром, это вам не с комфортом. И что, и что с того, что вы на вашу скамейку от безысходности сели, что же, что затынуло вам глаза черной пеленой, что голову чуть не разорвало, что вся она стала за минуту до этого как будто утыканная иглами, как будто распираемая паразитами? Ну, что еще? Будто левая сторона отнялась, рвет вас? А теперь уж и лоб свинцом обделали? Что ж вы такого с собой натворили, что давление ваше до двухсот подскочило? Что, любезный, можно сделать с собой в вашем возрасте, чтобы чуть паралич не хватил или того уж — с концами? А ведь безумно жаль вам было, самих себя жаль». Не мог, вот прямо в эту самую минуту не мог Даниил простить Сирину «супостата Достоевского». Это же всего лишь слова, неожиданными волнами накатившие на берег сознания. Слаба попытка самообмана: слова не могут быть *всего лишь*, слова — это сваи для памяти, силки для души. Сколько слов, сколько безвинно умерщвленных, расстрелянных, растоптанных, разорванных в клочья слов! Иные до сих пор болтаются на виселицах пера, иные тонут в чернилах. Все для того, чтобы истребить память, стереть ее в порошок, смешать с белилами, развеять с прахом. А это не помогает: трупы слов разлагаются слишком медленно, слишком сильно смердят и собирают слишком много падальщиков. Воспоминания, вбитые в твердую, практически неподвижную почву словами, невыносимо осязаемы, как настоящие столбы, — материализовавшимися, ими невозможно пренебречь, вот она, проекция твоего прошлого, с какой бы целью ты ее ни перенес. Ты, конечно, можешь рассчитывать на то, что, дополненная, докрученная, изогнутая под другим углом, она вдруг заиграет, как утренняя росинка, всеми цветами радуги и раскроет твоему сознанию сокровенный смысл, намерение, предназначение. Для чего нужна материализация, приколачивание, цементирование в принципе? Для уяснения? Для любования? Для осязания? Для владения? Для поклонения? Для разделения? На все вопросы ответ один — «да», но это не главное. Главное, для чего нужна материализация, — для возможности уничтожения, гибели, естественной смерти. У воплотившегося нет иного исхода, кроме гибели, рано или поздно круг замкнется. А как же бессмертие книг, а как же «рукописи не горят», как же из поколения в поколение сохраняющаяся актуальность того, что написано столетия назад? Здесь нет никакого противоречия: бессмертие это относительное, хоть и величайшее, но глядит оно сквозь пустые зеницы скелетов-слов...

Глаза все так же зажмурены — или уже нет? — олень задрожал и поплыл, как плывет пейзаж за вагонным окном, оплеываемым разухабистым дождем. У олененка появились водянистые рога, они немного съехали набок, но это ничего. Некоторые вещи порой сложно разглядеть, смотря на них в упор, их примечают только периферийным зрением. Вот и Данька, глядя на голову божьей твари, но охватывая всю ее целиком взглядом, вдруг отметил некое шевеление в грациозных, хрупких ее ногах. Фо-

кус сместился, створки глаз сомкнулись в прищуре: в копытах вился не то шланг, не то канат, не то шнурок; наводим резкость — Данька невольно передернулся: плотным, коротким, скользким шнурком оказалась змея. Пора бы в этот самый момент отвести взгляд, распахнуть веки, на крайний случай — выключить сознание, но ничего не выходило: Даниил замороженно и жадно продолжал смотреть, как краб на каракатицу, как заяц на удава, цеплялся за это полотно, как за некие выступы в колодце, рискуя провалиться в него с головой. И — провалился: почва под ногами стала податливой и топкой; олень ожил; не наклоня головы, но чуя опасность, он стал перебирать копытами — вправо-влево, вверх-вниз, вперед-назад, красиво, гармонично, своеобразно — в той степени, в какой своеобразно мерцание огоньков на фейерверочных палочках. Змея обвивалась и скручивалась то вокруг одного копыта, то вокруг другого; олень с гордо поднятой головой, не смотря под ноги, лишь чувствуя стягивающиеся живые пути на своих конечностях, ритмично выступал из казавшихся бесконечными смыкающихся колец, чтобы вновь оказаться в них заключенным. Пружинистые шаги, как будто отталкивающие от себя опору, как будто желающие избавиться от земного притяжения, вырисовывающие витиеватые узоры, напоминали череду танцевальных элементов танго — перемежаемые друг с другом басы и корте. И — правда: чарующие звуки мелодии Пьяццолло и Гарделя, как потоки воды, прорвавшие дамбу, хлынули в ушные раковины и отгородили от посторонних звуков; рука ощутила тепло другой руки, температуры совпали, время заledenело. Одно касание, единственное касание, роковое касание... Шажок, еще один, шажок, стежок, шпилька, узел — затянули. Было, было, это все когда-то было. Обнаженное тело, сознание, стыдящееся не своей наготы. Бесконечные квадратики и лампы, дорога длиною в три-четыре минуты. Страшно? Нет, это не зовут страхом. Заветные, запретные двери, за которыми свет, так много света — врата рая? Вот ты и в центре Вселенной. Операционное ложе, прижавшее в себя скрюченное от стыдливости белоснежное тело, такое жалкое, такое дорогое, такое неприличное — как ты мог в него нарядиться? Прекрасный материал для кройки и шитья, немного сморщенный, но его только разгладить одним движением руки. Ах, эти кости, обтянутые кожей, округлости и выпирающие углы во всей неуклюжести. Дрожь — это твой способ танцевать танго. В расширившихся зрачках зарделось пламя: жизнь и смерть обожгли друг друга касанием. Вокруг столько людей, лица скрыты масками — все они по твое тело. Они — твои спасители, они — твои палачи. В руке хирурга сверкает вовсе не скальпель, нет, в нее воткнулся и врос смычок! Кто-то заметил ставший мраморным от неудобной позы пальчик на ноге, исправил положение, обошел кругом. Медсестры невесомой мошкаркой движутся в ритме танго. Ты доверяешь им. Тебе стыдно, но ты вверяешь им всего себя целиком. Во взбухшую вену, как краску в хрупкий стебель орхидеи, впрыснули миноры и мажоры, бемоли и дизезы, и вот они, теснясь и выпирая, неистовствуя, наперегонки побежали по каналам. Тело обмякло, сознание выскользнуло. В танго столько же трагизма, сколько и в размахе крыла бабочки. Удар копыта, вознесенная вверх напряженная нога с выпирающими костями, но гордо и смиренно вздернутая голова. Ни отчаяния, ни ропота, ни надежды. Рубиновые росинки на белых лепестках вздуваются, вздуваются, сливаются друг с другом и превращаются в струи дождя, стекающие по оконному стеклу. В танго нет ошибок — танцуйте и полосуйте с трепетом и холодной страстью, сосредоточенно и с душой, только, прошу вас, не фальшивьте, ни одного изъяна, ни одного промаха наедине с собой, ни одного слова, молю вас! Так и должно быть — ты бы не пожалел, если бы больше не проснулся. Застывший сон, не размыкай своих объятий! А впрочем... один к одному, тебя устроит любой исход. Борьба жизни

со смертью? Нет, борьбы нет, есть ритуал, есть разреженность, есть танец, есть поглощение огня огнем. Стежок, еще один, граммофонная игла коснулась пластинки, змея, вдетая в иголке ушко, еще стежок — протащили, затянули. Давление и пульс в норме. «Господи, если бы я мог запомнить это ощущение — переживание тихого, но предельно отчетливого и ясного любопытства, удовлетворяющегося в равной степени и болью, означающей жизнь, и вечным, плотным, неподъемным забвением без снов — так, должно быть, живет червяк под камнем (Господи, за мгновение перед тем, как у меня отняли сознание, я совсем не думал о Тебе, так и знай, но знай и о том, что я не думал ни о ком, кроме себя самого), если бы я мог пронести это через всю свою жизнь...» А вдруг и получится — через всю жизнь. Там, где нет сознания, нет боли. И там нет ничего, там нет тебя, там нет никого. Цинциннат готов к казни, ведь ему сообщено ее время. Живая лента, изворотливая и путаная, как кассетная, стремительная и извилистая, она мечется и выводит свои вензеля в попытках ухватить одну из тонких конечностей жертвы, дабы заключить ее в свои объятия, парализовать и погасить импульс. Наконец она стягивает своим мускулистым телом, как жгутом, в два небольших тугих кольца, образующих знак бесконечности, передние ноги, подламывает их в коленях и без единого звука заставляет бедное животное осесть на землю. В стремлении сжать узел покрепче змея головой тянется к своему хвосту, захватывает его и — начинает судорожно, конвульсивно проталкивать в глотку самое себя, давясь, набухая, разрываясь и жаля себя своим же ядом. Голова и туловище подкошенного оленя затвердевают, превращаются в лед, вот они уже треснули и рассыпались крохотными льдинками, а бывшие только что тонкими и хрупкими — как хворост — ноги налились металлом и, сплетенные и сращенные, вконец слились и преобразились в граммофонный тонарм. Виниловая пластинка, плавно покачиваясь и посверкивая, тронулась с места. Игла еще касается фарфоровой кожи с голубыми прожилками, но сознание возвращается. Ресницы и щеки мокры от слез, тело пронзает боль, к горлу подступает тошнота. Да, именно в такой последовательности: сначала слезы, потом — боль и тошнота.

Боль и тошноту вызывал выпот жизни, брызнувший в глаза Даньке, едва пупырчатая шахматка, в которой явно выигрывали черные, разломилась и рассыпалась в угольную пыль. На полу у умывальника, рядом с ведром для жидких бытовых отходов, лежал полубоком, заваливаясь на живот, человек. Скрючившийся, с беспокойно подергивающимися ногами, ассоциирующимися с терзаемыми тремором лапками щенка-переростка, внезапно просыпающийся на краткие мгновения, что-то бормочущий, угрожающе мычащий и стонущий, он резко вскидывал то ногу, то руку, с грохотом обрушивал их обратно на пол, начинал храпеть, сильно, неровно, прерывисто, а потом вдруг переставал издавать какие-либо звуки, даже дыхание становилось неслышимым, так что приходилось искать его признаки в едва заметных волнообразных движениях тела. Данька не мог рассмотреть лица человека, но успевший застояться запах выдавал его состояние — он был пьян. По представленным обзором частям тела собирался такой образ: человек роста среднего или чуть ниже, худощавого, но крепкого сложения — о том свидетельствовали небольшие, но крепкие, упругие мышцы, ни намека на обвислость и дряблость кожи; несмотря на жалкую позу и невнушительную комплекцию, мнилось, что человек это сильный и выносливый, разве что вид ног заставлял в том усомниться — уж больно неубедительно выглядели: тонкие, цыплячьи, будто бы неустойчивые, скорее хилые подпорки, нежели надежная опора; впрочем, они попались на глаза Даньки в невыгодной для себя позе. Зато с руками все было ясно: однозначно рабочие, широкие, лопатистые, с огрубевшей кожей, с короткими

толстыми пальцами, на иных ногтях расплывались темно-фиолетовые и черные пятна — видимо, не раз их придавливали, охаживали молотком или иным тяжелым инструментом; большой палец правой руки в запекшейся крови, кисть расцарапана. Щетинистый подбородок, приоткрытый рот, стекающая слюна. Дешевая, закоптившаяся от долгой носки фланелевая рубашка в темно-синюю клетку с закатанными по локоть рукавами, выглядывающая из ворота синяя же футболка, темные, истончившиеся брюки, подпоясанные истрепавшимся ремнем, черные носки.

Даньку угораздило поселиться в доме пьяницы. Банальность, ставшая неожиданностью, неожиданность, которую трудно было предугадать в положении Даниила. Он растерялся: первой мыслью было бежать, бежать как можно дальше от неустроенности и разлада, от убожества и проклятия этого чужого дома, пока он не заразился ими. Он бежал от своей ущербности и разрухи, но оказывалось, все, чего он достиг, — чужие ущербность и разруха, которые уже прокрадывались за шиворот назойливым насекомым. И от их ощущения и созерцания, от их прикосновения Даниилу не становилось легче, не появлялось контраста, водораздела для сопоставления, собственное несчастье не умалялось, нет, оно обнажало ту глыбу, которую так старался перестать различать взгляд; вид чужих потрохов действовал обезоруживающе, угнетающе, он усугублял, сгущал потемки, утяжелял свинцовый шар отчаяния и расширял им пробоину в душе.

Непроизвольно отпрянув назад, с отвращением, ужасом и презрением глядел Данька на того, на чей кров и кусок хлеба посягнул. Эта реакция проступила на его лице: верхняя губа как-то криво приподнялась, обнажив по диагонали неровные передние зубы, брови сдвинулись, подбородок от напряжения окаменел. Так брезгливо смотрят на слизняка или слизь. Даниил мог обозначить точнее: он смотрел так, как ему мнилось, что все смотрят на него. Но вот что нехарактерно: в испытываемое чувство омерзения и отвращения вмещалось столько горделивого пренебрежения и самодовольства, что поверх их, стремясь их уравновесить, наваливался стыд, душащий бесконтрольную спесь. Но даже так не обойтись без самообмана: снисходительность требует лицемерия, растушевки равнодушием, невнимательностью, противоречием — иначе нельзя подавить свое искреннее, естественное, но постыдное движение в душе. Но к чему это? Чем лучше разбавленная, водянистая смесь напускной, выдвинутой жалости, толерантности — ежели угодно — в сравнении с чистым, концентрированным неприятием, осуждением и презрением? Деликатность души — это кривлянье, игры перед зеркалом, но что же тогда остается? — с упоением, полной грудью дышать испарениями, которыми исходит твоя мятежная изнанка! Каким-то морализаторством отдает этот диалог ни с кем. Ну вот перед кем ты сейчас красуешься, посредством кого самоутверждаешься? Да какое там, собственно говоря, самоутверждение! Чем твоя безвольность над собственными мыслями благороднее безвольности жалкого пьяницы?

Пришибленный, ибо для ошеломленности то, что испытывал Даниил, не дотягивало, было притуплено и тускло, отбросив никчемную, по его разумению, осторожность, прошел в другую, гостевую часть комнаты и в задумчивости опустил в скрипучее кресло. Что же ему делать дальше? Опять этот настойчивый вопрос: остаться здесь или отправиться на поиски нового крова? Разве можно себя уверить в том, что в другом месте будет лучше и легче, что не угодишь в логово большого семейства, облепленное глазами и ушами? Да и нужна ли толпа народу, чтобы обнаружить присутствие взрослого организма, которого на раз-два выдаст его же собственная тень. Нет гарантии даже того, что в другом доме не окажется такого же алкаша, собутыльника

вот этого же, что лежит перед тобой. Мало ли на какие еще препоны, которые сейчас вялое воображение отказывается представить, можно наткнуться!

Вообще говоря, что было здесь такого для столь сильного возмущения и неприятия? Его кто-то выгонял, кто-то бросался на него с кулаками, чего-то требовал с него? Разве происходящее с жильцом дома касалось Даньки? Таило для него угрозу? Прямо сейчас — нет. Но это не примиряло Даниила с самим собой: в нем как будто поднялась память предков, хранящая в себе все ужасы пьяного угара; каждая нервная клеточка, оказавшаяся в замкнутом пространстве с нетрезвым субъектом, трепетала и буйствовала, желала сбежать, на крайний случай — исчезнуть. Рой — как будто заготовленных — вопросов уже начал досажать: наклонность, пристрастие, зависимость — что с ними делать, как побороть и стоит ли с ними тягаться? Вот говорят, указывая на какого-то человека, что он добродетелен и порядочен (оставим в стороне вопрос о том, какие именно свойства завернули в эти блестящие фантики), положим, что так оно и есть на самом деле. Но если добродетелен он и порядочен лишь по счастливому стечению обстоятельств, заварившему такой, а не иной состав его тела, задавшему такой, а не иной ход мыслей, — ну не выползают у него из затененных уголков бессознательного мрачные, запретные желания и побуждения, не находит его достойным своих искушений сам дьявол; герметичен котел, в котором вскипают чувства и варятся плоды размышлений, непроницаем он для чужеродного, необъяснимого, спонтанного; в общем, живет человек в такой вот идеальной физической модели без силы трения (допустим, ведь любая теория требует идеальных моделей) — что ж теперь, все ему в заслугу и поставить? Так пусть же этого персонажа (тем проще ему простить вымышленность) ничто не соблазняет, пусть привит он от хандры, меланхолии, сплина (какие все красивые слова!), праздных размышлений, ничто не смущает и не растлевает его ум и душу — таково его устройство, так он сложен не самим собой. Что ж, сам он себе все это снискал, своим трудом выскреб? Неужели заслуга его в том, что ему повезло? Ведь он не ведет ни с чем борьбу, не утруждает себя заботой о сохранении трезвости ума и спокойствия сердца — они у него чисты до скрипа, прозрачны и спокойны, как родниковая вода. Вот этот человек — безгрешный, довольный, благочестивый, и все это лишь по случайности, по прихоти природы, каких-то неведомых сил — короче, какого-то химика, виртуозно исполнившего свою лабораторную работу.

А взять теперь другого, противоположного первому, обуреваемого, заполоненного страстями, сводимого ими с ума, но противящегося им, прилагающего усилия укротить желания волей, истребляющего их вместе с собою, разрываемого на части, стесняющего и отчаивающегося — лучше ли он того, первого, честнее ли, искреннее ли, подлиннее ли этот мученик, пропалывающий в себе ежедневно и еженощно ростки зла (того, что сам, общество, этика признали за таковое)? Положим, что он в очередной раз преодолел это наваждение, это безумие, неистовство, но значит ли это, что он искоренил их, полностью освободился от узурпации, вырвался из-под гнета своего внутреннего антагониста, истребил его, значит ли это, что гной вышел наружу и начался процесс заживления и выздоровления? Потенция греха (нет, не того библейского греха перед карающей непонятной нечеловеческой силой) — пусть сдерживаемая и подавляемая, пусть прижимаемая к ногтю, словно неумная блоха, пусть сжимаемая за горло, словно тонкошеяя птица, — уже воплотилась в соблазнительно запретном образе о нем, мысль мелькнувшая уже проявила его, вычертила черный абрис, дала толчок воображению и чувствам, запустила их по смазанным рельсам; не будет двигателя — достанет инерции: все ощущено и прожито будучи запертым глубоко внутри,

стиснутым, утрамбованным, а оттого — выпученным, явственным, резким и сфокусированным; не проступившее в реальность, все налилось соком и цветом, прониклось ароматом, обросло мякотью и зарделось ореолом недозволенности. И нет известного средства, которое уберегло бы, вернуло бы к себе, вернуло бы радость простой жизни, не нашпигованной соблазнами.

Какое все это имеет значение? Ведь все равно, все равно... Но бессовестно шумные, разнонаправленные, как пассажиры в городском транспорте, мысли топотали и кричали, толкались и бились в голову Даниила, переставшего обращать внимание на звуки, издаваемые спящим на полу хозяином, выпускаемые всей реальной обстановкой. Прямо так, сидя в кресле, с мешаниной обрывочных мыслей, неразвернутых, схлопывающихся в неразличимую точку, с отяжелевшей и склонившейся головой, Даниил незаметно для себя задремал, не чувствуя никаких физических неудобств, не зыскуя ответов на вопросы, пуская все на самотек, предоставляя реальности обтекать по границам сознания, покуда не выщепит в нем брешь.

Очередное пробуждение Даниила в этом доме отнюдь не оказалось спокойнее и приятнее предыдущих. Он проспал не более получаса, но ему показалось, что прошло не меньше двух-трех часов — так глубока была расщелина его сна. На этот раз тишина прорвалась густым, жирным, намешанным и скатанным, как сметана в масло, шлепком: рвотные массы, извергающиеся из недр человеческого существа, глухо ударились о дно высокого алюминиевого ведра. Даньку как будто вытолкнули из сна, ладони в напряжении вперлись в подлокотники, тело подалось вперед. Ах, чья-то рука вдавливает нашего героя в чужую историю, не оставляя возможности для выбора.

Хозяина рвало долго и громко, изматываяюще, с утробными звуками и отплевываниями, казалось, вот-вот он исторгнет из себя душу. Даньке вспомнилось, что в детстве его часто выворачивало: укачивало в машине, подводил желудок, да и здоровьем он был слаб — жар по любому поводу сопровождался такими же обильными излияниями, ненавидимыми им больше боли. Интересно, а этому человеку больно? Может ли он охватить себя с ног до головы сторонним взглядом, узреть, насколько он мерзок? Не тошнит ли его от того, что его тошнит? Мелькала ли в его голове мысль о том, что во всем виноват тот самый алкоголь, то самое пойло, которое он вливал в себя несколько часов назад? Испытывал ли отвращение к нему? Чувствовал ли горечь и сожаление, винил ли самого себя? Зарекался ли не брать больше и капли в рот? Какая слабость, должно быть, его разбивает, как пересохло во рту, как крутит живот, стенает прожженный желудок, как зыбка и противна ходящая ходуном действительность. Его трясет от пробирающей все тело мелкой дрожи, ему холодно, ему страшно, ему противно. Покидавшее сознание вернулось, он вновь втиснут в невыносимый трезвый мир, заляпанный тягучей слизью, рвотными массами и отходами. А ему меж тем никуда не деться из этого давящего помещения; он один, никому не нужный, брошенный, ни в ком не нуждающийся, убогий, униженный самим собой, Богом и людьми. О чем же он думает, ощущает ли какую-то горечь, кроме горечи вылаканного зелья? Едва ли. Все, чем ограничатся его желания, — это потребностью опохмелиться, выпить еще и еще, потушить полыхающий в груди пожар, лечь, заснуть, а там — все по новой: тошнота, рвота, слабость, неумное, скребущее всю внутренность раздражение, новая рюмка, новая опорожненная бутылка — и так до тех пор, пока организм не пропитается ядом до такой степени отравления, что возопиет о медицинской помощи.

Хозяин, опираясь рукой и коленом о пол, делая над собой неимоверное усилие, держась другой рукой за грудь где-то в области сердца и испуская тяжелый выдох,

как будто пытаюсь изгнать демона из легких (напрасное движение, тщетная попытка), поднялся на ноги, нетвердые, ненадежные, словно ходунки; ополоснул лицо, вытерся и, ступив пару шагов, возник в проеме между печью и левой для Даньки стеной. Мужчина остановился — его вниманию предложили Даньку, но мутный стеклянный взгляд, застилаемый мелкими мушками, соскользнул с необследованного предмета, так ни за что и не зацепившись, и хозяин мелкими шажочками, почти не касаясь пятками пола, засеменял к кровати, настиг ее и ничком рухнул. В нынешнем его состоянии присутствие Даньки оказалось слишком малозначительным событием.

Даниил же почувствовал облегчение, наконец-то оказавшись уличенным в своем существовании и присутствии. Дальше могло последовать что угодно: едва заметный отпечаток вдавился в судьбу постороннего человека, неглубоко, пожалуй, лишь до легкой снежной пороши. Но если вовремя не выбраться, не пересечь поле, рассеянно задуматься и замереть, немудрено нечаянно застрять и оказаться стертым белоснежным ластиком с лица земли. Вновь хаос. На этот раз чужой хаос. Но Даниил не чувствовал в себе сил и желания противостоять этой посторонней жизни или избегнуть ее, что-то его манило, что-то неизъяснимое, противоестественное, грозное и жалкое одновременно, приковывало его к чужому мрачному быту.

Время все никак не желало подвигаться вперед, утро набиралось медленно, как будто стекало с неба по капельнице. Всего около шести часов. Недавно пребывавший, ластившийся, как кошка к ноге, туман прорвался, будто пенку собрали со вскипевшего молока. Изнутри, из недр дома чуеться, что воздух ажурен и невесом. А ведь какой-то час или полтора назад за окном стояла непроницаемая завеса дымки. В какой-то момент Даньке даже почудилось, что дом оседает — не засосало бы его в расхлябавшуюся почву... <...>

В который раз мысли Даниила оказались увлеченными в сторону от непосредственной ситуации, от переживаемого момента. Композиция проста: Даниил в кресле, хозяин дома — на кровати. Неприязнь или равнодушие — в какое из этих понятий легче размять и скатать воск, стекающий со свечи сознания? Данька был бы равнодушен, если бы природа его позволила ему быть таким по отношению к людям вообще. Любой человек для него был своего рода раздражителем, на который он не мог не дать ответной реакции. Любой человек его интересовал, в каждом он видел загадку. О нет, не тешился он иллюзией эту загадку постичь, но понаблюдать за ней, изучить, прийти к своим выводам — то было делом необходимым. Так или иначе, Данька чувствовал дискомфорт, напрягался, становился внимательным и чутким к слову и движению того, кто оказывался рядом. Вот и сейчас он произвольно внутренне подстраивался под ритмы спящего человека, стараясь по дыханию и движению определить тот момент, когда он проснется и начнет вставать, уже наверняка будучи в состоянии осознать Данькино вторжение в свой дом.

Две часовые гирьки в виде шишечек спустились по цепочкам в самый их низ, дверца, методично захлопывающаяся после каждого выхода кукушки, напоминающая ревнивого конферансье продуманного водевиля, перестала открываться; громкое, назойливое время онемело, непростукиваемое пространство, словно контуженное, оглохло и уплотнилось. Любой механизм несет на себе налет фатальности, чего-то неумолимого и необратимого, внушающего неосознаваемый ужас. Должно быть, это плата материи за насилие над ней: за то, что она покорилась, поддалась, смялась и деформировалась в человеческих руках. В застывшем механизме скапливается и застревает энергия, рвущаяся наружу, выжидающая своего момента; эта энергия — готовое двинуться с места колесо, волна, которая вот-вот оборет дамбу.

Не исключено, что от толчка этой энергии и проснулся вдруг хозяин, резко и порывисто сел на кровати, уставившись прямо на Даниила, как будто весь свой тревожный сон памятовал о присутствии чужака на своей территории. Невыносим, как же был невыносим этот воспаленный, мутный, рыбий взгляд наэлектризованного человека — раздражение, неумность, нетерпение, невозможность отвлечения от единственного интересующего предмета оседлали волю и готовы были галопом нести к источнику утоления желания. Даниил виделся препятствием на пути к искомому удовлетворению и, надо сказать, смутно об этом подозревал. Мятежный дух, заимствующий человеческое тело, а не человек, не личность, тарасился на Даниила. У Даниила не было ни заготовленных, ни спонтанных слов для этого духа, но в них и не было нужды. Хозяин смотрел на Даниила с прищуром, через боль, казалось, его слепило солнце, но во взгляде не было ни удивления, ни растерянности — не исключено, что это всего-навсего являлось следствием абстинентного состояния, взбудораженности, отвлечения внимания или заторможенности реакции. Наконец веки прикрылись, взгляд соскользнул в пол, рот, обрамленный тонкими, прижимистыми губами, скривился в полуулыбку-полуухмылку, и после протяжного тяжелого вздоха последовало объемное и увесистое «Да-аа...», довершилось оно укоризненным прицокиванием. Что значило это «да», Данька не знал, но в нем послышались упрек и уязвление — стало не по себе, кольнуло булавкой, точно не кто иной, а один лишь Данька был повинен в положении человека, сидевшего на кровати, раскорячив ноги, уперев в колени локти и опустив тяжелую голову. Кажется, Даниил пришелся кстати — нужен был кто-то, на ком можно отвести душу.

Хозяин, так и не проронив ни слова, просеменил к ведру, приподнял звонкую жестяную крышку, зачерпнул из него ковшиком колодезной воды, отпил, накрыл ведро, оделся и вышел из дома. Вернулся он лишь поздно вечером. В том же состоянии, что и накануне. Даниил же прослонялся весь этот день по дому и двору, уже не опасаясь других жильцов и не особо помышляя о том, чтобы покинуть свой нескладный и неладный, разбитый, печальный кров и повлачиться в новые дали. Податься все равно больше некуда — такова была оправдательная мысль, о которую оперся (и в которую уперся) уставший рассудок. Надо признаться честно, попади Данька в устроенный, приветливый, благополучный кров, где его приняли бы с радушием, окружили бы добротой и заботой, ему, совершенно не привыкшему к подобному обхождению, совсем немного времени потребовалось бы на то, чтобы почувствовать себя ужасно несчастным, ущербным, неполноценным, зависимым. Глядел бы он исподлобья недоверчиво, что-нибудь подозревал бы, выискивал в простом, без задних мыслей, расположении посторонних к нему людей какие-то происки, ухищрения, вождение за нос с умыслом извлечь как-то выгоду чуть погодя, в тот самый момент, когда он, Данька, должен будет расслабиться, привязаться и проникнуться теплыми чувствами к своим благодетелям. А ведь он не привяжется и не проникнется — ему этого не позволит вбитое, как колышек, в сознание убеждение в том, что что-то должно быть причиной такого к себе отношения: некое ожидание — отдачи, выгоды, благодарности. Любая якобы безвозмездная услуга, любезность — это всего лишь способ манипуляции, изошренного психологического закабаления, не иначе. Для Даниила, сызмальства вымуштрованного оправдывать ожидания, в конце концов подобные связи станут настолько обременительными, и он начнет стремиться их отсечь да преуспеет в этом, а та легкость, с которыми в одночасье порвутся сплетенные сети — силки, послужит для него подтверждением того, насколько иллюзорными, ничтожными они были.

Вот и вышло, что первичное, поверхностное побуждение выбраться из чужой червоточины, отстраниться от окутанного мрачным флером холодного очага, не привлекающего улыбкой, гостеприимством и довольством, но и не изгоняющего из своего лона и окрестностей, не дышащего враждебностью и угрозой, оседлалось желанием остаться незамечаемым даже будучи наблюдаемым.

Так, ни у кого не прося дозволения, Даниил остался обитать в этом доме. Словно призрак, домовый, дух. Практически ничего не делая по дому, не заботясь о запущенном хозяйстве, он слонялся по дому и двору, не испытывая неудобств в бытовом плане и не чувствуя себя лишним и обременительным. В еде и крове ему не отказывали. Надо сказать, что только поначалу это попустительство происходило по причине замутненного сознания хозяина (да и того нельзя знать наверняка), спустя неделю беспросветного запоя он пришел в себя, стал приобретать человеческий облик.

Совершенно вымотанный, исхудавший, с высосанными жизненными соками, осунувшийся и отекавший одновременно, он, по-видимому, не в силах был усидеть на месте — что-то изнутри терзало его и подгоняло — остервенело взялся он за выправку своих дел. Суетливо, но со знанием дела, проворно, с кажущейся легкостью, но скрупулезно, методично, скоро, как в мультфильме про летучий корабль, наводил он порядок на каждом участке своего хозяйства. Дело спорилось в его руках, все покорялось без лишних движений. Вот были вынесены и вымыты с порошком все ведра, вот посвежел пол, как только что выциклеванный; постель сменила белье и накрылась чистым пушистым покрывалом; политые цветы воспрями духом и вытянулись; пыль вместе с паутиной, еле видимым мхом обжившие поверхности, исчезли без следа; посуда, простоявшая несколько дней, засияла чистотой; чуть-чуть отклонившиеся от установленной нормы занавески, скатерть, салфетки, покрывала одернулись умелой рукой: ни одной морщинки, ни одной ворсинки — все как будто ожило, облагородилось и вместе с тем приобрело какую-то математическую правильность. Дошла очередь до двора: прелые, пергаментные листочки быстро сгребли в одну кучу, забили в целлофановый мешок; распахнулись двери сараев — влажный застоявшийся воздух клубнем выкатился и, перемешанный с остывшими слоями, незаметно рассеялся. Умытое, ухоженное, проникнутое человеческим теплом, все словно встрепенулось, стало обжитым, засветилось надеждой и предвкушением, радующими глаз, хотя и не избавилось от матового налета глубокой печали.

Здесь, в небольшом мирке, заключенном, как вакуоль, в мягкую мшистую мембрану из сине-зеленых бархатных лоскутов елей, сосен, пихты, сменяющихся переливчатым атласом своевольно, отчужденно растущих липы, дуба, лентами березовых посадок, время текло иначе, нежели в городе. Тягучее, как патока, оно никуда не спешило и не проливалось зря, никого не торопило, позволяло насыщаться собой вдоволь и искать занятий для досуга. Ощущение Даниилом времени было как будто во все и не новым, а возвращенным, возрожденным из детства — оно ассоциировалось с искрящимися бескрайними снежными полями, сугробами, все прибывающими и прибывающими снежинками, беспрестанно устилающими все вокруг; это нечто противоположное песочным часам, стремительно избывающим свои крупинки (правда, замкнутость песочных часов, быть может, еще ближе к бесконечности — лишь бы была сила, готовая их перевернуть). И вот это все белоснежное, хрусткое, дышащее прохладой симметрично распластанное время, не стремящееся растаять и испариться, предоставлено в полное распоряжение Даниила: его можно беречь, а можно растапливать своим дыханием — хватало и на то, и на другое. Скучать не приходилось: в доме нашлось и находилось множество интересных книг (они были распаханы по разным

шкафам, видно было, что к ним, запыленным и даже затянутым в паутину, уже давно не обращались, а меж тем среди них были «Могикане Парижа» А. Дюма, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Трудно быть Богом» Стругацких, «Лолита» и «Дар» В. Набокова, «Красное и белое» Стендаля, «Смирительная рубашка» Дж. Лондона и проч. и проч., чтение чего не просто помогало скоротать вечер-другой, но способно было доставить истинное наслаждение любителю и ценителю изящной словесности и глубокой мысли; интересно, кому они принадлежали?), обнаружение которых для Даниила было сродни открытию сокровищниц, оазисов посреди пустыни — это были поистине блаженные, драгоценные мгновения, которые сжимали сердце и томили душу предвкушением встречи с чем-то таинственным, волшебным. Никто не мешал, не прерывал чтения, ничто ему не мешало начаться и продолжаться в любое время суток; Данька отрывался от книг тогда, когда ему хотелось, например, остановиться и обдумать прочитанное или просто подольше остаться под действием очарования, насланного на него той или иной мыслью, тем или иным описанием, эпизодом, фразой, словосочетанием. Тогда герой наш часто отправлялся гулять в окрестные леса, посадку или на озеро. Он оставался незамеченным, так как ему не приходилось выходить на улицу: со двора можно было уйти через большой огород, расположенный позади сарая и других хозяйственных построек. Огород был обнесен по периметру деревянным плетнем, через (или даже сквозь — он не был сплошным) который не стоило никакого труда перебраться наружу и оказаться в чистом поле; чуть поодаль виднелись посадка и узкая автомобильная дорога, а еще дальше — леса, еще поля, еще леса — весь огромный внешний мир, все развертывающийся и развертывающийся, нигде не давящий и ни в чем не ограничивающий. Свежий, насыщенный кислородом воздух, от которого Даниил давно отвык, который кружил голову и раздувал грудь, местные сочные пейзажи увядающей природы виртуозно играли с органами чувств, не уступая — если не превосходя по силе воздействия — чужим плодам творчества, пьянили чувством легкости и иллюзией едва уловимой смещенности, блуждания всех предметов относительно их настоящего расположения: они будто обращались всеми своими возросшими в количестве измерениями, крутились голограммами вокруг своей оси. Данька осторожно, боясь причинить боль, а попутно и самому расщепиться — ось его сознания тоже кренилась, — ступал по промерзшей, стянутой ледяной коростой земле, посыпанной, как пылью или металлической стружкой, тонким слоем снега, под которым еще хрустели опавшие листья. Без всяких усилий сосредоточенный взгляд Даниила комариным хоботком всасывал в себя краски поздней осени, и среди них не находилось ни спелой охры, ни глянцевиной бронзы, ни тем более солнечного янтаря — нет, перед ним не было россыпи самоцветов; все было опутано ломкой ржавой медной проволокой, а пористое, как пемза, и хворое небо было готово в любую секунду расклеиться и окропить землю скорбными слезами. Данька бродил меж стволов чужих деревьев (их не было в его заснеженном детстве, по большей части проведенном в бесплодной тундре), проводил рукой по их неровным шершавым стволам, взирал на ветви, простираемые старческими руками не к грифельному небу даже, а к чему-то рассеянному в холодном воздухе, что когда-то неимоверным ужасом высушило соки всего одушевленного, исказило гримасой боли обращенные к нему некогда выпуклые, вычеканенные, а теперь сплюснутые, вдавленные в кору, в дернину, ставшие неразличимыми вневременные лики. Данька ощущал неясную, но прочную связь с прошлым, которое, возможно, так и не закончилось, но замерло, с его горечью, трагедией, его нескончаемым умиранием, угадывал во всем окружающем признаки неизбывного, но беспредельностью своей возвышающего над ним же самим страдания,

обескураживающего и обыгрывающего смерть. Даниил слышал безмолвные стоны и знал, что все вокруг внемлет его мыслям, знал и то, что мысли его навсегда останутся звучать здесь, в этом пропитанном кладбищенским духом месте. Некогда здесь все плясало и корчило в агонии, но от этого не становилось жутко, наоборот, — тени прошлого умиротворяли, обволакивая и опутывая страшными видениями, гипнотизируя заунывной мелодией осеннего ветра, старательно прибирающегося, приготовляющего природу к соборованию. А впрочем, нет, не стоит ограничивать природу нашими религиозными путями, пусть она живет по своим обычаям, следует своим обрядам, шепчет заклинания и проклятия, пусть будет всемогущим, непостижимым язычником, мистиком, лишь бы и дальше она творила свое таинство, позволяя нам иногда за ним подглядеть, пусть даже воспоминание об этом подглядывании будет стерто из памяти; это воспоминание заместит другое — о пережитом ощущении, по которому непременно будешь тосковать и за которым будешь гоняться. И Данька бродил по окрестностям, одаренный этим драгоценным воспоминанием, переживая нечто восхитительное, чувствуя, как в теле самопроизвольно протекают некие химические реакции, дурманящие сознание не испытанным ранее вдохновением, предчувствием и единением — казалось, что все, что составляло Даниила, подключили к огромному зарядному устройству, которое напитывало его энергией, мыслями, опытом множества существ, возможно, уже отживших, а возможно — просто выдуманных. Это было волшебство, которому Даниил с удовольствием отдавался, из-под очаровывающего гнета которого не хотел выходить.

* * *

Изредка Даниил задумывался над тем, ищут ли его. Несмотря на то, что прошел столь незначительный промежуток времени со злополучного или благословенного дня, когда Даниила, как какой-то тюк, выпихнули из вагона, та жизнь, сброшенная как ороговевшая кожа, бредовая, горячечная, напоминающая несвязный, бесцветный кошмар, спутанный с явью, представлялась какой-то далекой и невозвратной. Мысль о возможном обличении себя, о выдаче жителями поселения или стечении обстоятельств, которое раскрыло бы его личность, омрачала нынешнее существование Даниила, но все же он старался не поддаваться напрасным тревогам и утешал и подбадривал себя тем, что в любом случае ему стоит как можно полнее пользоваться той свободой, которая нынче в его распоряжении, и нечего отравлять ее страхом.

Когда Даниил находился дома, все его мысли роились вокруг хозяина крова: где он, чем занимается, трезв или вновь сорвался, полез в бутылку, с кем он, когда вернется, все ли с ним в порядке. От окна к окну переходил Данька, возникая и затираясь, то в одном, то в другом немигающем зрачке дома. Даниил поначалу не обращал внимания на отлучки хозяина — какое ему, в общем-то, было дело; вполне комфортно оставаться дома в одиночестве, безнадзорно делать что вздумается. Но живущие бок о бок друг с другом, хоть и в установившемся мягком и пружинистом молчании, невольно приноравливающиеся друг к другу, каждый про себя понимал, что между ними протягиваются невидимые нити отношений, возможно, из разряда тех, что бывают у домашнего питомца с хозяином. Правда, Данька лишь получал, не предлагая ничего взамен, при этом не чувствовал себя обязанным или задолжавшим, да даже хотя бы благодарным; скорее, он относился к предоставляемым ему благам и оказываемым услугам как к чему-то само собой разумеющемуся, как будто он уже когда-то внес свой залог либо имел законное право на безвозмездность, которое не оспаривалось хозяином.

Небольшой круг домашних дел у Даниила все-таки образовался: он натаскивал в дом колодезную воду, выливал использованную воду, приносил дрова для топки дома, изредка готовил что-нибудь незатейливое и мыл посуду, в отсутствие хозяйна давал корм домашней живности (ее было немного: с десяток кур, петух, пара овец да кот); мог сподобиться приколотить что-нибудь отпадающее, починить что-нибудь сломавшееся, но бывало это от случая к случаю и единственно по прихоти. Баню Даниил сам не топил: не умел как надо, да и нужды в том не было — это дело хозяйское, а помочь, подсобить, если что, приглядеть — тут он пригождался; но баня находилась впритык к соседскому забору, поэтому приходилось осторожничать, чтобы не выдать себя.

В трезвом уме хозяин ни с кем не ссорился, ни у кого ничего не просил, но всегда был готов прийти на выручку кому бы то ни было. К нему часто обращались, звали на работу: на покос, на выпас коров, на стройку бани или дома, на рытье колодца, на помощь на пасеке и так далее — к любому труду шла, примерялась его рука. Даньке оставалось лишь дивиться, наблюдая за трудом без намека на упорство, на преодоление лени, сетование на хлопотность дел, отсутствие тяжелых вздохов, легкость, непринужденность и удовольствие, сквозившие в каждом действии. Неужели человек может быть столь смиренным, работающим, непривередливым, неужели его может доставать на все эти утомительные, нудные, бессмысленные мелочи? Изо дня в день одно и то же, изо дня в день с бессменными радением, прилежанием, кропотливостью и тщанием. Нет, Даниил ни за что бы так не смог. Это все казалось ему слишком наивным, простодушным, бесхитростным, почти граничащим с глупостью, а все же он умилялся и завораживался плавностью и размеренностью движений, выверенных, экономных, невесомых, сродни порханию бабочки — отнюдь не напористому и резкому перелету пчелы. Гармония, покой, добрососедское сожительство с природой — все это было на самом деле, пока вдруг, словно бы без причины, без предупреждения обрушивалось лавиной, расползлось селом, когда в очередной раз наступал срыв, и этот добродушный, смирный, терпеливый человек хмелел и уходил в запой. Иногда его угощали те, кто звал на работу. Иногда он сам начинал искать повод, чтобы выпить, начинал с кружки пива, а там уж с головой бросался в омут беспамятства. Те, кто его поил, прекрасно знали, что ему противопоказан алкоголь в любых дозах, но это никогда их не останавливало — наоборот, ожидая сцены, раззадориваясь, они подначивали выпить больного, в сущности, человека, с удовольствием ждали они ломки воли и унижительного, жалкого представления. После первой опрокинутой рюмки не было смысла вести счет всем последующим. Слабовольный терял свой человеческий облик, обращался в животное, в желание, в необузданную стихию. Спаиватели злорадно усмехались за спиной и открыто смеялись в лицо, смотрели уничижающе и презрительно, дразнили, подливали и тешили свое самолюбие — мол, мы-то пить умеем, мы-то головы не теряем. Все, чему можно было позавидовать, вмиг растаптывалось и улетучивалось — перед вами оказывалось пресмыкающееся, хотя — нет, пресмыкающееся лучше — оно хладнокровно и бесстрастно. Хозяин исчезал. Иногда на дни, иногда — на недели.

Данька же, сам того не замечая, потихоньку приручался, сдавал свою волю без натиска жалкому человеку, который ничего от него не ожидал и не просил. Зато Данька, в иссохшем сердце которого наметилось какое-то нездоровое шевеление, продирающее наружу ненужные всходы, начал ждать, жадно, с надрывом ждать, как преданный пес ждет своего человека с работы. Любая задержка хозяина с работы или шабашки откуда-то из затопленных глубин души поднимала тревогу, не однажды пережитую

и вроде бы навсегда оставленную в прошлом... Все повторялось из раза в раз: тишина становится суше и начинает потрескивать, спицы, накидывающие и собирающие петли времени, захватывают волокна сумерек, сама пустота сжимается, напружинивается и, стиснутая, разряженная, растертая меж грозových туч, незримыми волнами накатывается на помещенные в нее предметы и растекается по ним, растекается... А предметы трескаются и лопаются. Свет уже не цедится, желтеет, избавляясь от своей болезненной бледноты, заваривается, тени уплотняются; все, как панцирем, обрамляется в абрис и обрастает еще одним измерением. Все напитывается смачной, густой, жирной краской, даже душа вымазывается жиром — оттого и не дается в руки, выскальзывает из них, не дает себя убаюкать.

* * *

Спустя месяца два с небольшим после появления Даниила в поселке одиночество двух существ нарушило внезапное, нет, не вторжение, а как бы вмещение третьего человека. Ранним утром ясного зимнего морозного дня к воротам дома подкатил легкой автомобиль, и из распахнувшейся его дверцы выступили две ноги, обутые в красивые черные полусапожки, а потом из нее же вынырнула трость, на мгновение упершаяся в землю, затем бегло ощупавшая припорошенную снегом поверхность и как будто вильнувшая хвостом своей колеблющейся хозяйке — выходи, все в порядке. Нагретые недра машины выдали сложенную на несколько мгновений и тут же распрямившуюся аккуратную фигурку девушки. Завернутая в светло-серую дубленку с отороченными мехом воротником и рукавами, с капюшоном на голове, она напоминала маленькую Снегурочку. Лицо девушки, бледное, с голубоватым отливом, белизной своей соперничающее со снегом, наполовину скрывали темные очки — они устраняли двойственность в понимании предназначения трости. Усилия, прилагаемые к сокрытию неуверенности и угловатости, заставляли их выпирать еще сильнее, как жировые складки под прилегающей одеждой. Не оставалось сомнения, что девушка незряча. Поводыря при ней не наблюдалось. Все же она самостоятельно добралась до калитки, надавив на ручку, отперла ее и толкнула от себя, вытянув руку и ощупав пустоту, — так же Данька засовывал свою руку в темный мешок ночи, когда впервые очутился здесь, — и упрямо двинулась ко входу дома. Машина тут же тронулась, слегка забуксовала, но справилась, развернулась и, оставляя глубокие следы, быстро скрылась из виду.

Хозяин был дома. Это был один из тех самых дней, когда он вернулся после недельного отсутствия. Пьяный, с проспиртованным — не телом даже, а душой, что впору выставить ее в Кунсткамере, он валялся на кровати в рабочей одежде, запах бензина от которой невероятным образом не сбился алкоголем, и в не пожелавшем остаться снаружи или хотя бы свалиться у кровати ботинке — из него, нерасшнурованного, торчала пятка. Рядом с разложенным диваном на полу стояли две початые прозрачные бутылки, на столе валялись хлебные крошки, одна из них угодила в медленно сужающуюся лужицу разлившейся водки. Тут же была открытая трехлитровая банка маринованных помидоров — солоноватый запах просачивался из-под неплотно прикрытой жестяной крышки. Данька только что вернулся с прогулки по окрестностям: приходилось избегать общества хозяина в известном состоянии — он становился слишком многословен, навязчив, лез с бессвязными бестолковыми речами, от которых тоска брала за душу — хоть волком вой. Порой Данька задавался вопросом: уж не «белая» ли горячка? Ее уж стали приписывать соседу жители ближайших домов, и виной тому был Даниил, которого никто не видел, но о котором так упорно под градусом начинал твердить хозяин. Слушатели с опаской и тревогой переглядывались

между собой, смешки меж теми, кто жил поблизости, сошли на нет — да и будет ли до смеха, ежели обезумевший сосед, коли взбредет ему чего или привидится, подпадет свою или чужую баню или избу! Какой-то благожелатель, не то из страха, не то из сердобольности, позвонил дочери хозяина да и поведал в красках житье-бытье никудышного отца. Явившаяся девушка и была той самой дочерью хозяина.

Даниил не сдвинулся с места — остался у окна в комнате, не сочтя нужным или возможным прятаться. С тылу было ненадежное прикрытие — коричневый, орехового оттенка, шифоньер, то и дело покряхтывающий, покачивающийся вперед и назад да озвучивающий свое мнение похлопыванием резных ручек по своему широкому полотняному лакированному телу при каждом близком шаге домочадцев. И все же на него можно рассчитывать, да еще на печку, вроде глядит с сожалением и, прикрыв черный рот платком, тихонько всхлипывает, как слезливая баба. Не то что на окно и стол — те смотрят равнодушно, от них не стоит ждать участия, пожалуй, еще и подножку подставят. Как-то невозможно было никуда двинуться так, чтобы не потерять точку равновесия. Просто пат какой-то. Интересно, как из него выбираются: вот бы пригодилось умение играть в шахматы, если б таковое наличествовало. Да, Владимир Владимирович³, вы б грациозно разрешили эту затруднительную ситуацию, пусть даже вынырнув на изнанку шахматной доски — глядишь, голову не разбили. Хм, Даниил всегда немного свысока косился на замкнутые, ограниченные системы, мимоходом извлекая из их недр то, что — одному Богу весть по каким признакам — относилось к тайнописи: ноты, краски, цифры и буквы. У Даньки и самого было весьма смутное представление о том, что отличает буквы от шахмат, ноты от шахмат, цифры от шахмат — как ни крути, а проще было рассмотреть преимущество того, что, имея материальное воплощение, тешило осязание и заставляло волочиться мысль в сферы самые что ни на есть отвлеченные и беспредельные. Найдется x , при котором функция, втиснутая в формулу из математических символов, будет стремиться к бесконечности... Болезненное детство, в котором было слишком много математики, но из шахматных фигур — лишь заблудившаяся пешка.

Девушка справилась с дверьми и порогами и оказалась наконец в комнате. Враз все поняв и прочувствовав, она в бессилии, не освобождаясь от верхней одежды, словно сшибленная, подкошенная, не то осела, не то рухнула на легко обнаруженный стул и, едва опершись правой рукой о трость, оттолкнула ее от себя, как геометрическая фигура, отсекающая от себя лишний отрезок или луч, дабы не изменить своей сущности. С какой безжизненной тяжестью упала рука, мгновение назад поднесенная к лицу и сорвавшая с него темные очки — в них больше не было нужды: никому нет дела до ее подслеповатости — мир смазан, видится будто сквозь несходящую пелену, но все же не черен. То восседала не удрученность, но обреченность в человеческом обличье. Данька смотрел, смотрел жадно и бесстыдно, во все глаза, сверля, вылуцывая и препарируя, как патологоанатом души. Душа, между прочим, даже не содрогнулась. Тонкое овальное лицо, не тронутое румянцем, высокий покаты́й лоб, аккуратные брови, миндалевидной формы зеленые глаза, опущенные длинными ресницами, фарфоровая синева под глазами, длинный с горбинкой нос, тонкие поджатые губы — все было хорошо по отдельности, но сочетание их не складывалось в красоту, чего-то недоставало или, наоборот, что-то ее нарушало, но образ в целом, хрупкий (дубленка не ставила под вопрос, что сложения она была миниатюрного), разводненный, акварельный и выразительный одновременно, возбуждал любопытство и дразнил взгляд. Несколько минут она так и сидела с опущенными плечами, безвольно повисшими руками, словно ветвями плакучей ивы; все явственнее проступала на лице обескура-

³ Имеется в виду В. В. Набоков.

женность. Руки несколько диссонировали, нарушали целокупность образа девушки: совсем небольшие, но ковшеобразной формы, с короткими, неровными, наспех очерченными пальцами и детскими ногтями, они как-то стеснялись сами себя, как нечаянно приметанные не к тому телу, но всегда оказывались выставленными напоказ, торчащими; нынче им было совсем совестно: их покрыли маленькие водянистые пузырьки, кое-где лопнувшие не без помощи ногтей, кое-где только набухшие жидкостью. Но мысль — мысль без усталости продолжала свою кропотливую работу и мобилизовывала готовый только что по швам разъехаться дух. Во внутреннем котле что-то готовилось, доходило — сырая, дрожжевая мысль нарастала, закипала, напирала и вдруг разрешилась: девушка вдруг усмехнулась, всплеснула руками и еще раз усмехнулась, выпрямила, между прочим, спину и расправила плечи да разразилась смехом, нервным, истерическим, с похлопываниями колен и с вогнутым в себя взглядом. Смех этот был горек и жесток, ему надлежало сослужить службу брони для уязвленной гордости и самолюбия, ибо девушка чувствовала себя униженной, осмеянной и жалкой. Даниила захватила разворачивающаяся на его глазах драма — такой она и бывает: обычно обходится без дорогих декораций. Гнев и раздражение теснили узкую грудь, с недюжинным напором из нее выдулся тяжелый сферический, но протяжный, как мыльный пузырь, вздох «эх!», словно вулкан хотел отпрыгнуть из себя душаскую его мокроту. Эх, тут бы сделать пару ходов пешкой и туда-сюда пропрыгать конем, но — нет, если не королем, то выступаем смело ферзем, да пребудет мир с его резной витиеватой душой!

И хотя ее смех был громок и сидела она на расстоянии чуть больше полуметра от кровати, на которой лежал ее отец, *его* беззвучная насмешка просто оглушала, ибо немислимо было представить, что он не пробудился ни от звука машины, калитки, дверей... ни от ее голоса. Растравленная той же мыслью, что и Даниил, она порывисто встала, как будто соскочившая пружина, крикнуло кресло — пустой выпад, сдернула с головы шапку и в одно движение очутилась над лежащим на диване отцом, в следующее мгновение стащила с него одеяло и треснувшим голосом, но не повышая его, как бы сдерживая натянутую в груди, под горлом, тетиву, велела:

— Вставай, ну же, вставай! — чуть повернутое в сторону — прямо смотреть было невмочь — лицо искажала гримаса боли и нетерпения; растрепавшиеся волосы, как водоросли, заволакивали и мельтешили неизбывной мукой перед глазами Даниила, затаившего дыхание.

Все, кроме хозяина, откликалось и подавало признаки жизни, незримо копошилось, нагибалось, приседало, кряхтело, покашливало и почихивало, перешептываясь, о чем-то справлялось друг у друга. Зрительный зал камерного театра. Набилось много всего дышащего, сопящего, запыхавшегося, как будто не здесь все это было еще минуту назад, как будто вынырнуло с работы, пробилось из пробок, отслоилось от лож, выдралось с предыдущего места и, не успевшее опомниться, по инерции продолжающее заданное ранее движение, но обернутое во фраки, вечерние платья, приплюснутые цилиндрами и снабженное тростями (верно, на случай, если запнется мысль), восседало в нетерпеливом беспокойстве (каждый предмет тщетно пытался вспомнить, что он позабыл) на коленях как будто не своих, перепутанных кресел. Звуки, шершавые, рельефные, ворсистые, — составляли неизбежную, неприрученную прослойку. Некие сверхчувственные фибры явственно слышали тему сминающейся плотной бумаги, и им уже грезилось, что это одну стену дома кто-то аккуратно взял за край и стал сворачивать в трубочку, так что не ровен тот час, когда домочадцы потеряют под собой точку опоры и завернутся вместе со всеми своими страстями в рулон, потом этот рулон, как палас, как ковер, уберут в дальний угол какого-то иного мира.

Может, правда, случиться и иначе: закатают, как газонную траву, увезут и расстелют в иных мирах — вот и не верь потом в потустороннее. Ну да и не поверишь: забудешь обо всем, что было прежде, себя самое забудешь, вот как эти вещи, таращащиеся во все глаза, выдающие свое любопытство и настороженность, но все же отвлекающиеся. Мм, где-то скользнула фальшь, все экспонаты на месте, но все они болезненно бледны, как будто простужены, и укутаны в белесые волокна тумана... все должно быть иначе. Должна быть глянцевиная покатошь предметов с едва заметными осевшими на них пылинками, с проглядывающими там и сям отпечатками пальцев на лоснящихся поверхностях. Да, именно, вот что это было: свет — ему полагалось быть болезненным, искусственным, электрическим, рассеянным и вязким одновременно; лучами-спектрами, как мутировавший осьминог, он обхватывал и удерживал все содержимое комнаты и даже претендовал на параллельную реальность, отражаясь в ламповом экране пузатого телевизора, — почти мистическая вещь, портал в миры Билли Миллигана. Ничто не противилось. Разве что муха, отчего-то не дремлющая в укромной щели, а летающая под самым потолком, отбрасывая несоразмерные ей самой тени.

Хозяин уже поднялся и сидел на краю кровати, уткнув лицо в ладони, окаменевший, желающий врасти в свою опору, провалиться в нее, через нее в погреб и — бежать, бежать, бежать, он вдруг затрясся в рыданиях. Она не знала, что он чувствует, — она бы пожертвовала полжизни за это знание, но он рыдал, пряча глаза, сжимаясь и скукоживаясь, отчего становились громче и колючие всхлипывания. Она сидела рядом, подогнув одну ногу под другую, и тоже тихо всхлипывала, внутри ее все надрывалось и клочотало, ее душу затапливали темная терпкая печаль, ненависть и жалость к себе.

— Хватит! Перестань! — зажмурившись и зажав уши руками, отрывисто бросила она. — Хватит ломать комедию! Господи, сколько можно!

Ее отец в мгновение ока сполз с кровати и очутился перед ней на корточках, не склоняя головы, глядя прямо в лицо своей дочери, вперяя в нее воспаленный взор, обжигая ее каким-то чужим взглядом, запричитал:

— Прости меня, доченька, прости, я ошибся, — обдавая теплым, проспиртованным дыханием, выпучив глаза, бормотал он, стараясь убедить, уверить, облапошить свою дочь.

Данька попался на крючок: а что, вдруг появление дочери сможет круто изменить жизнь его хозяина, вернуть в верную колею? Тень радости мелькнула в его сердце. Или это всего лишь взмах крыла кружащей цокотухи?

Девушка, услышав эти сотни раз слышанные пустые слова, лишь крепко сжала руки в кулачки и одним из них со стоном ударила в сиденье (оно лишь коротко проскулило), резко мотнула головой, рассекая этим жестом навешиваемую на глаза плену, и со сверкающими ненавистью глазами не то процедила, не то прошипела:

— Замолчи. Замолчи!

Хозяин в нетерпении и отчаянии, внушенном неудавшейся попыткой краткосрочного примирения, сменил позу и сел по-турецки, локоть правой руки уперев в колено и опустив на раскрытую ладонь горячечный лоб. Ему было плохо, он обратился в наэлектризованный клубок обнаженных нервов. Это был тот самый опасный момент, когда он мог на все махнуть рукой, сорваться с места и припасть к бутылке с утешительным зельем. Но — нет, так не случилось. Одно всхлипывание, другое: он снова рыдал. Она же терпела эти звуки из последних сил. Немного погодя, перемежая свои слова вздохами, паузами и полустонами, он приглушенным низким голосом пустился в обстоятельный рассказ, призванный раскрыть причины и стяжать у слушательницы оправдание того, что выпало ей нынче сносить. Сама не своя, не удерживаясь дол-

го на высоких гребнях своих чувств и эмоций, она, совсем притихнув, пришибленная, слушала. Судьба, оказавшаяся тут как тут — через дымоход влетела, что ли, — сидела за прялкой и тоже слушала. Занавес. Добро пожаловать в гримерку души!

* * *

Кто придумал миф, что детство — беззаботная пора, наполненная радостью и любовью, искрящаяся, как ручеек, мягкая, как перина, сладкая, как рахат-лукум? Интересно, посчастливилось ли кому-нибудь на самом деле познать все эти прелести? Надо признать, что наша героиня полагала, что знает детей, у которых детство если и нельзя назвать сказочным, по крайней мере, было нормальным, таким, каким ему полагается быть. «Нормальное» ей представлялось недостижимой планкой. Обыкновенное для нее было чудом. Ее угнетало чувство неполноценности и ушербности. Даниил знал это чувство не понаслышке.

Так уж повелось, но стыд за своего близкого человека, будь то мать, или отец, или так называемая вторая половинка, как-то нечаянно выказанный взглядом, мимикой, жестом, словом — чем угодно, — порицается и принимается за признак малодушия, незрелости личности. И должно быть, это не так уж далеко от правды, особенно если к стыду примешивается желание отстраниться, отступить от объекта стыда, а не накрыть его собой, уберечь от чужого взгляда. Боязнь быть задетым общественным презрением, обрызганным ядовитой слюной желчной толпы, разделить участь проклятого и клейменного — она естественна, исходит она вовсе не от черствого сердца и худого нрава, но сама по себе она сигнал и приманка для падальщиков: стоит ей оказаться в спектре внимания той или иной социальной группы — начнут с шакальничьего обнюхивания, а кончат тем, что разорвут на части. А ведь стыд этот бывает таким, что от него невозможно спастись бегством — даже убежав, оставшись наедине с самим собой, не почувствовать облегчения и освобождения: тут же за дело возьмется воображение, которому легче вздуть и воспалить мозг, чем самой ужасающей реальности. Невнятно, туманно, абстрактно? А вот конкретно: ребенок лет пяти-семи (два года для рано повзрослевших детей — ничто, их внутренний мир и через десятки лет претерпевает немного изменений, он лишь расширяется и углубляется, но не деформируется), понуро вышагивающий рядом со своим принявшим за воротник шатающимся отцом, с животным страхом, с неповорачивающейся, заржавевшей, вжатой в плечи шеей, исподтишка обводящий взглядом окрестности, дабы при приближении кого-то смутно знакомого резко повернуть, сделать крюк к искомому месту, но ретироваться, сию же секунду покинуть полосу встречного движения, ибо сохранение самого себя на ней значило подвергнуться флеру чужого мира и получить вмятину в мир собственный, с заданными параметрами «х» и «у», никак не наоборот. «Х» — это невероятная привязанность ребенка к своему родителю, «у» — тяжелое бремя его вины, «его» можно присовокупить без разбора и к дитю, и к тому, кто его породил. В какой-то момент в сознании ребенка вызревает словом ли, мыслью ли, делом ли, стечением ли обстоятельств зароненное семя ответственности за вину своего родителя и вину за мысли, поступки и обороты судьбы своего родителя. Всему находится причина, всему находится объяснение — все это лежит в плоскости импульсов, испускаемых детской душой. Возможно, кинувшись от безысходности в религию, стоило бы сопоставить это чувство с первородным грехом, но последний — это нечто общечеловеческое, стадное, сплывающее; за то, что их кто-то изгнал, изгнанные не преследуют самих себя, подобных себе они готовы приять и сами они примыкают друг к другу. А здесь частность, непохожесть, инородность — то, что раздражает, ополча-

ет массы, то, что подвергает остракизму. Так бывает даже тогда, когда отличие — повод гордиться. Тут же гордиться было нечем. Этот страшный ярлык «ребенок алкаша» — позволит ли он ошетилившемуся, забитому, самим собой в избытке самосознания забракованному существу подпустить к себе когда-нибудь постороннего человека, обнажить ему свой уродливый нарыв, позволить одарить теплом и расположением? Даже если это вдруг случится, даже если он рискнет и приоткроет дверцу в свой хрупкий, боящийся сквозняка мир, придушив мысль о том, что его не поймут, осмеют и осквернят, сделают достоянием людских пересудов сокровенную тайну, не пожалеет ли он о своей слабости в тот же миг, как на пороге его мира начнут вытирать ботинки и разуваться? Не станет ли воротить нутро от самого себя, разоткровенничавшегося, размякшего, предавшего самого себя? Не станет ли это вытасченное наружу страдание мерзким и бессмысленным, не исказит ли, не исковеркает ли это неприкосновенное переживание, не сотрет ли с него, как легкую пыльцу с крыльев бабочки, искренности, значимости, таинственности, не опрокинется ли враз все то, что копилось годами на алтаре одиночества и затворничества во храме все еще детской, девственно чистой души? И наконец, не возненавидит ли он своего небрежного слушателя, наблюдателя испода своего нутра, не возжелает ли окропить его кровью чужака, дабы могильной плитой заслонить лаз, столь непредусмотрительно приоткрывшийся однажды?

Абсурд, но чем губительнее становилась страсть отца к выпивке, чем туже смыкались на его горле кольца холодного змия, тем сильнее и прочнее делалась привязанность девочки к отцу. Он все больше и больше смещался к центру ее мироздания (виниловая пластинка, которая без этого не могла звучать). Будучи совсем маленькой, она повсюду следовала за ним, когда он не был на работе. Она без устали и лени плелась за ним к родственникам, в магазин, к ларькам, в ЖЭК, к мусорным бакам, сопровождала его даже в его походах к собутыльникам, следила за тем, сколько он берет денег, боялась спросить зачем и уже омрачалась недобрим предчувствием, увязывалась на работу, когда он выходил в выходные и праздники, украдкой заглядывала в глаза, силясь по их выражению определить первые признаки беспокойства — она умела различить симптомы того, что затем переходило в невтерпеж. Она чувствовала себя крайне неуютно в роли надзирателя, конвоира, это было тягостно, но больше всего она боялась тех минут и часов томительного ожидания его возвращения неизвестно откуда, когда он упирался и не брал ее с собой, оставлял в кротком молчании и со сжавшимся сердцем. Конечно, даже преследуя его по пятам, она не всегда могла его оградить от его страсти, ей приходилось наблюдать метаморфозы, происходящие с ним от сладострастно вливаемой в горло прозрачной, пахнущей Кунсткамерой жидкости или дрожжевого, пенного коричневого напитка, запах которого казался смешанным с запахом мочи. Детское воображение не могло выдержать одну лишь прозу, оттого представлялось, что захмелевший серповидный месяц оказывался вдруг в деревянном уличном туалете и вытекал в отцовский стакан неприглядной жидкостью, которая никак не ассоциировалась с янтарем, ржаными полями и чем-нибудь еще, чего бы коснулось солнце. Тогда она еще не догадалась бы прекословить, была исполнена уважения, да и боялась строгости отца — его авторитет еще не пошатнулся, оставался нерушим и незыблем.

Когда же реальность вспарывалась очередным срывом, все расходилось по швам и неслось кубарем — а случалось это очень часто, — девочка невольно обращалась к своей памяти и начинала выискивать не чьи-нибудь, а свои промахи, проступки, прегрешения и пропущенные ею предзнаменования. В своих поисках она доходила до суеверного, мистического самобичевания: «Ах, вот если бы я сказала то, а не это,

если бы я не просила вот эту мозаику, если бы я ее не собрала, вот если бы один кусочек не потерялся (или наоборот — потерялся), если бы я взяла это правой рукой, а не левой, вот если бы навстречу попался автомобиль белого цвета, а не серого...» О нет, она не мнила себя бабочкой, взмах крыла которой способен вызвать где-то землетрясение или цунами. Как бы ни вязались и ни плелись нити судьбы, в центре их сидел ряженный шестилапый паук, способный что угодно спутать. Она считала себя этим пауком. Иначе за что ее наказывает Бог? Конечно, за провинность; должно быть, она много чего натворила, не будет же Он просто так терзать невинного ребенка. Вот только она не могла разобраться, что же конкретно ею такого сотворено. Ей мерещились насмешки и перешептывания, все как будто осведомлены о том, чего она не знает. Что исправить, что починить, какое движение погасить, чему придать импульс, куда себя деть, как искупить свою вину? Какую вину, она не ведала. Когда отец был трезв (о счастливое время с легким сердцем, возносящимся до небес!), он не проявлял особой строгости, не ругал за мелкие шалости и оплошности (среди тех, что она помнила, крупных не допускалось), но держал с ней себя как-то отстраненно и холодно, не принимая совсем уж всерьез, словно относясь как к домашнему животному с неглубокими впечатлениями: достаточно накормить, напоить, выгулять, уложить спать; забота предоставлялась добросовестная, прилежная, но формальная, исполняемая по долгу, по велению обычая и закона, но не сердца. Неуверенность в чувствах родителя терновником обвивала душу и порождала сомнение в праве на занимаемое место: если для того, кто тебя породил, ты — нудная, отягощающая повинность, то что же ты за помеха для всех остальных? Поперек природы, но потихоньку забивалась она в углы, стеснялась себя, сознавала как-то со стороны, все время одергивала себя, всем вызывала собственное недовольство — повадкой, мыслью, отражением, у всех все выходило лучше, все пригляднее и милее — им многое прощалось, сходило с рук, но не ей: ей непозволительны расхлябанность и слабость, ей нельзя высовываться и допускать хоть малейший повод для укора. Одичалый, чурающийся людей, стесненный, стеганный формировался характер, а к нынешним годам и вовсе стал каленый — сам себя обжигает. В любой перемене обстоятельств, настроения своих родителей, благоволения и суровости судьбы усматривала она причину в себе. Наверное, слишком много взваливала на себя, слишком много мнила о себе, сводя все токи этого мира в одну ничтожную материальную точку, но не умела вылущить из себя разрастающееся, как на опаре, предчувствие или воспоминание — оно и свое вроде, из себя высеченная искра, и в то же время как будто врученное на хранение и передачу; страшно быть с ним, еще страшнее — избавиться от него.

Не забыть ей страха, который сжимал ее в свои объятия, когда она возвращалась домой из школы, издаликая начиная смотреть на свои окна в панельной девятиэтажке, пытаясь подковырнуть взглядом домашнюю обстановку, мысленно подавить, предотвратить беду, так ярко и в неисчислимых вариациях вырисовывавшуюся в воображении. Накануне вечером он так и не вернулся с работы, дома он теперь или нет? Если дома, то не учинил ли с матерью скандал, не покалечил ли ее — когда становилось совсем неумолимо, отец поднимал на мать руку, но могла и она — на него (однажды ранним утром, потеряв терпение и человеческий вид, она занесла бутылку над его головой, готовая одним махом покончить с этим беспросветным адом); целы ли они оба? А если так и не вернулся, то где он теперь, где его искать? И — пустяковый на фоне остальных, но марающий краской стыда вопрос: что скажут на его работе, что придумать в очередной раз в оправдание прогулов? Это второстепенно, лишь бы нашелся: можно взять больничный, можно упасть на колени перед начальством, а можно и уволиться.

Земля укрыта огромной снежной периной, чистой донельзя, отдающей голубоватой белизной, искрящейся, как наждачная бумага. Ноги быстро устают, наливаются тяжестью и распухают, распирая сапожки, утопают в глубоких сугробах. Дома, приставленные друг к другу бочком, как вагоны железнодорожного состава, лентой выются куда-то вдаль, к зарастающим летом мятликом оврагам, седой речке с сальными косами, к ныне пустынной, а в остальные времена года ржавой тундре. Сиреневые тени лежат на белоснежном снегу. А снег такой скрипучий-скрипучий, такой плотный, что цепляется за ногу, как репейник. Идти тяжело, приходится высоко поднимать голени и смотреть вниз, на эти кратеры с обломленными краями, остающиеся по твоей милости. Интересно, как далеко, глубоко земля, да и есть ли она здесь, в вечной мерзлоте? Может, это лишь отмерший участок на огромном теле планеты, ороговевшие клетки, зашпоренная пятка?.. И в каждой снежинке распускается радуга, переливается яхонт, бриллиант. Это все солнце. Оно здесь, конечно, как бы завернутое в плотный целлофановый пакет — такие теперь уж и не дают в магазинах, мутное, как будто затянутый в белок желток глазуньи. Небо плотное и глухое, почти асфальтовое; рыхлых облаков, хотя бы похожих на больничную вату, совсем не видно. А ведь чудеснее всего небо, когда оно просвечивает из-за ветвей деревьев. Здесь нет таких высоких деревьев, нужно склониться к самой земле, почти что приложить к ней щеку, чтобы посмотреть на небо сквозь карликовую иву. С крыш домов свисают длиннющие прозрачные сосульки, как сталактиты. Приятный холод окутывает кожу своим мягким дыханием, он не колет и не обжигает, а как будто гладит лицо тыльной стороной ладони. Так много деталей, которые можно выдумать, изъять из себя вовне, выскоблить до последних прозрачных мушек в глазах, которые можно разглядеть, лишь смотря куда-то в сторону, но правда в том, что даже этими деталями не заполнить пустоту. Ее в избытке, сколько бы ни выпало снега, им не залепить эту разъехавшуюся проклятую реальность в ослепительной белоснежности.

Сколь богато ни было воображение ребенка, и оно не могло исчерпать неисчислимые варианты того, что могло произойти в этой страшной сказке с тем, кого необходимо спасти: авария, драка, кража, обвинение, убийство, любой несчастный случай (он мог поскользнуться, упасть с лестницы, попасть под машину, провалиться под лед, замерзнуть в любой подворотне, оказаться в тюрьме, отравиться, не найти выпивку в критический момент и т. д.). Потерянная память, плевки, оскорбления, обрыв, веревка, пинки, кровь, рвота, снова кровь и рвота — это месиво крутилось в голове, с легкостью продиралось сквозь заученные стихи, исторические даты, теоремы и аксиомы, формулы химических элементов, цифры, логарифмы, названия морей, гор и океанов. Вероятность того, что с ним может случиться что-нибудь из упомянутого и недодуманного, была гораздо выше, чем вероятность того, что все обойдется. На уроках не учили, как измерить *эту* вероятность, пришлось выдумать свои инструменты вычислений: подходя к деревянной реечной двери своей квартиры, прежде чем сунуть ключ в замочную скважину, она выбирала какую-нибудь одну рейку и начинала от нее отсчет: если число четное — все обошлось, он дома, если нечетное — не вернулся. Ни разу она даже задним числом не отметила, сбылось предсказание или нет, ни разу памятью не попятилась, чтобы проверить свое изобретение на точность. Ей никогда не хватало смелости досчитать до конца. Да и к чему эта попытка довериться случайности, на чей знак она уповала, и чего от него ждала для себя: к чему заглядывать в будущее, от которого тебя отделяют материальная дверь и пара-тройка секунд? Бессмысленная, непременно обрывающаяся попытка обмануть сердце и уличить кого-то (кого?) во лжи.

Задерживаться надолго перед дверью нельзя: могут застать соседи, нужно отдать им должное: они ни разу не жаловались на шум и не вызывали участкового. Что же там, за дверью? Отопрется ли она? Бывало, что он возвращался домой, запирался изнутри и оставлял ключ в замочной скважине, — сколько раз приходилось взламывать замок. Иногда он оставлял дверь незапертой. Однажды, увидев в окно возвращающуюся дочь, он кинулся прочь из квартиры, но не успев выбежать из подъезда, спрятался, пригнувшись, под лестницей; его неподвижная спина в темно-синей спецовке навсегда проткнула память. Грязный, заплеванной подъезд со стенами, выкрашенными в зеленый с белым, облупившаяся краска, чьи-то номера телефонов, написанные черным маркером, мат, свастика, звезды в кругах, сигаретные окурки, почтовые ящики цвета хаки и... он, спрятавшийся от нее, от дочери семи-восьми лет. Потрясение ее было настолько велико, что в тот день она дала ему уйти: не вцепилась в руку, не зарыдала и не закричала, а просто стояла на лестнице и изумленно смотрела ему вслед. «А-а, вот оно что...» — подумалось ей, и ее посетило ощущение двойственности времени, как будто она оказалась в двух поездах, движущихся с разной скоростью на двух параллельных путях; в одном из них она явно была лишней. Это был первый и последний раз, когда она его не догоняла, а догонять приходилось. Приходилось связывать — запомнились закрученные простыни — наивное отчаяние, приходилось сторожить — и в результате отпускать, обманувшись в очередной раз словами, приходилось следить — желая по некрепости духа от страха упустить из виду.

За дверью переливалась ртутная тишина. Там уже все отравлено и медленно обугливается. За порогом ждала воспаленная, гноящаяся, покрытая миазмами спрессованная реальность. Реальность ли? Может, всего лишь кошмар, навешанный чьими-то злыми чарами? Тишина — она бывает страшная. Оставалось гадать, какого она свойства: та ли эта тишина, которая бывает перед началом бури, раскаленная, разрывающая барабанные перепонки, душная и тесная, и какая-то наполненная прозрачными амебами и инфузориями, или та широкая, переливчатая тишина, что, хоть еще и затаив дыхание, все же разносится без страха и утайки, звонко, лихо и расхлябисто, как разжавшаяся пружина, как будто ей нечего терять? Что ее встретит там? Ее «там» вот оно, слишком близко, это не «там» полноценных людей, это «там», которое ей придется принять в полном сознании, во всей остроте. Он, валяющийся в луже рвотных масс. Она, с синяками и ссадинами, в сиреновой кофте, со следами от шнура удлинителя на шее, обхватившая голову, прислонившаяся к стене, с растекшейся под столом черничного цвета раной от вмазанной с размаху вазочки со смородиновым вареньем. Горько от этой лобызавшей стену сладости... Эти рыдания, эти невыносимые рыдания, содрогания и причитания, которые вызывают жалость лишь поначалу. Он лежит выпуклой кляксой, плотным липким сургучом на сургучного же цвета полу — пластилин на глянцевиной дощечке памяти. Она сидит, вытянув ноги. Может быть, утратив всякое терпение, в приступе ярости, она размозжила ему голову очередной бутылкой? В воображении уже есть осколки коричневого стекла, кровь, — но их нет в реальности, а могли быть, а может, и были. Он — это отец, она — это мать.

А дальше — дальше безумная, безумная, адовая карусель, в которой не семь кругов, нет, карусели мало семи кругов, она будет кружиться и кружить, кружить, кружиться и давить: через час-полтора он поднимается, его кормят, поят, еще часа два он проспиг, уже на кровати, уже более здоровым сном; затем сон истончится, начнет прорываться фантазмагория и психоделика, наметанные широкими стежками на истерзанную марлю жизни; его поднимет, нет, не желание, не страсть, а одержимость, наваждение, сверхъестественное; в нетерпении начнет он искать поводы вырваться на-

ружу или же на худой конец, подняв скандал, корча изуверские рожи, стеная, рыдая, мечась, заламывая руки, разбивая голову о стены, занося над супругой руки, отпра-вит он ее за склянкой с зельем, бесовским зельем.

* * *

Все свое детство она провела в душевном затворничестве, столько лет оберегая с переменным успехом от посторонних глаз и ушей самую неприглядную часть своей жизни. Но однажды, когда она уже окончила школу и уехала на учебу в другой город, дала себе слабину и допустила непростительную оплошность: поверила свою тайну постороннему. Они учились вместе на одном факультете и на первом-втором курсах довольно часто пересекались на парах. Она сразу обратила на него внимание: он слишком старался скрыть ото всех самого себя; он же ее не смог для себя выделить из толпы и приметить. Она, найдя его забавным и занятным, стала издалека за ним наблюдать. Тем бы дело и кончилось, если бы однажды они не встретились вне учебных стен: оба оказались на одном концерте в филармонии. Совпадение не самое тривиальное, но не из ряда вон: в большом городе бывает пересечься легче, чем в селении о двух улицах.

Октябрь. Пасмурный дождливый день, который, как губку, уже полагалось бы хорошенько отжать. Но днище некоего небесного сосуда прохудилось и, покуда не было залатано, давало знатную течь, не без некоего, впрочем, разнообразия: то отвесно лило, то стегало, как кнутом, то вдруг переходило на мелкие водяные накрапывания, что-то пунктиром намечающие на капризном полотне города. Ноздри не радовал насыщенный озоном воздух, все пресытилось влагой, стало неспособным ее впитывать, пахло сыростью, землей, кругом мелькали зонтики и слышались гул, шипение и шуршание шин, расплющивающих и расплескивающих лужи; иные из них переливались радугой бензиновых пятен: наложение двух лучей, один из которых немного отстал от другого — вот тебе и чудесное явление интерференции, радующее глаз и чуть-чуть приподымающее дух. Отовсюду капало, все шелестело, дул холодный щетинистый ветер, и даже нагие деревья, чем-то напоминающие раскачивающихся пациентов в смиренных рубашках, поскрипывали, попадая в общую заунывную тональность. Зато с каким удовольствием (хоть и немного омрачаемым заботами о внешнем виде: брюки забрызганы чуть ли не до колена, обувь вся перепачкана и даже не изящно — грязь, да и только) ныряешь в теплое помещение, скидываешь промокшую верхнюю одежду, укутываешься в плед (пусть хотя бы согревавший не так давно чужие плечи). Несколько минут, и вот все вычищено, подправлена прическа, восстановлено дыхание и вместе с ним внутреннее равновесие; можно двигаться в зал и занимать свое место. По пути стоило обратить внимание на развешанные по стенам весьма занятные картины — может быть, и не шедевры, достойные Эрмитажа (в Эрмитаже души каждой из них находилось место), но уж точно доставляющие эстетическое наслаждение. Отдав дань восхищения попавшей в поле зрения части полотен, наша героиня, проскользнула под высокими потолками с тяжелыми хрустальными люстрами в исполненный атмосферой торжественности, величия, великолепия зал в стиле сдержанного неоклассицизма. Едва ли помещение можно было определить словом «роскошное»: стены и потолки, некогда бывшие белыми, обрели кремовый оттенок, некоторыми местами выпячивались, словно набитыми шишками, паркет с вкраплениями черных волокон давно не обновлялся и поскрипывал, деревянные сиденья, обитые красной материей, были узки и угловаты, с низкими прямыми спинками, в них нелегко было найти комфорт; и даже живые цветы, которыми была уставлена вся кромка сцены, каза-

лись искусственными, не говоря уже о том, что они на три четверти заслоняли происходящее на сцене зрителям первых рядов. Пышность создавалась и поддерживалась в основном лепными колоннами, далеким расписным потолком и упомянутыми огромными блестящими люстрами, неизменно останавливающими на себе обращенный на них взгляд. Резкий желтый свет, встречающий при попадании в зал, заставляющий звенеть тишину, электризирующий ее и несколько раздражающий нервы, за несколько секунд до выхода музыкантов на сцену сменялся мягкими, туманом стелющимися, обволакивающими переливами всех возможных цветов, среди которых доминировали голубой, сиреневый, розовый и белый. Наконец все разместились, все смолкло, послышались первые, накрапывающие звуки, сдерживаемые, словно водные потоки, до поры до времени kloкочущие где-то в вышине, словно на невидимой террасе, мощью и энергией, вот-вот должны обрушиться на барабанные перепонки. Фортепьяно, скрипка и флейта тремя шелковистыми прядями вплетались в единую косу и, достигнув вершины, распускались и распались, низвергались в расщелину вызревшей канонадой, чтобы вновь начать свой путь.

Наша героиня не была особым знатоком классической музыки, плохо разбиралась в нотной грамоте и не стремилась запомнить названия композиций, чтобы перед кем-то блеснуть эрудицией. Само собой, у нее нашлось бы с десяток любимых произведений, но она была готова слушать любой концерт, любой опус, любую сюиту — что бы то ни было, все годилось для достижения ее цели: физического очищения под воздействием живой музыки. Требовалось лишь закрыть глаза, и постепенно тело расслаблялось, все зажимы размыкались, исчезали пресловутые триггерные точки, кипящий поток мыслей отмывался от шлаков и замещался новыми спокойными незамутненными ручейками ни во что еще не оформившихся простейших неделимых частичек. Эффекта хватало ненадолго — день-два, иногда чуть дольше, но слишком часто прибегать к такой «чистке» не полагалось — чревато привыканием, пресыщением и сведением результата на нет, так что она посещала храм музыки раз в две-три недели, а иногда и раз в месяц.

Он же с музыкой был гораздо больше на «ты», чем она, поскольку в свое время учился в музыкальной школе игре на баяне и знал, что такое «сольфеджио» и «композиция» не понаслышке, правда, он бросил учебу между третьим и четвертым классами, и нельзя сказать, чтобы об этом жалел: он бросил вовремя — как раз до того, как схватилась его ненависть к музыке. Спустя годы он вернулся к музыке, но уже как слушатель и знаток, большой ценитель, не претендующий на роль ее творца, но с отзывчивой душой, вибрирующей и резонирующей, как хорошо настроенный инструмент, от виртуозного воспроизведения мелодий. Ему выпало счастье уметь наслаждаться.

Вновь она первой заметила и узнала его. Увидела его в антракте стоящим в холле и, не зная куда себя деть, разглядывающим какую-то картину. Пару раз мелькнуло его лицо, но даже со спины она могла определить, что ему неловко, этот перерыв для него излишен и тягостен. В молодом человеке не было ничего особенного (если только в ком-то что-то вообще бывает особенным): неплохо сложенный для своего среднего роста, подтянутый, не жилистый, плотно сбитый, с довольно широкими плечами и прямой спиной, чувствующий твердую опору под своими крепкими ногами, внешностью он скорее располагал к себе, нежели отталкивал. Но нельзя сказать наверняка: то была субъективная оценка — таким его хотела видеть наша героиня, которая даже к небольшой лопухости этого парня отнеслась снисходительно, найдя в ней некое очарование. Безо всякой определенной причины ей было приятно смотреть на своего однокашника, ей виделось в нем что-то близкое по духу, знакомое; подспудное

сомнение говорило, что это лишь игра воображения, внушение, заблуждение, но и расставаться с ними не хотелось. Вообще-то, она вышла из того возраста, когда для шалостей и забав требуется компания, поддержка друга и приятеля, но к этому человеку она испытывала симпатию, ее влекло к нему и больше, чем перспективы быть отвергнутой или разочарования от знакомства, она боялась остаться с сожалением о том, что так и не заговорила с ним, не предприняла ни единого шага, чтобы удовлетворить или погасить свое желание. Скрутив таким образом из сиюминутных ощущений и чаяний свою решимость, она двинулась было в сторону молодого человека, намереваясь с ним хотя бы поздороваться, но не успела и шагу ступить, как он повернулся и встретился с ней взглядом. Нет, она не смутилась и не отвела глаз: отчего-то совсем не стыдно было ей своего любопытства. Казалось, и он ее признал: глядел внимательно, но робко, как будто чего-то ожидая и не веря в возможность дождаться. Она, ничего не обдумывая, искренне улыбнулась, про себя отмечая, что отрезает пути к отступлению и внутри ее что-то противится, но подошла к нему и поздоровалась, представилась. Девушка привела его в некоторое замешательство, но не вызвала заметной неприязни. Он ответил на ее приветствие, они обменялись парой-тройкой ничего не значащих слов — наспех заклеили тишину, забросали лакуны молчания ворохом сухенных фраз, дабы не сразу отлепиться, не отпрянуть друг от друга.

Кончился антракт. Каждый, чувствуя незавершенность взаимодействия, прерванной химической реакции друг в друге, как будто вот-вот две среды должны были проникнуть одна в другую, но разъединились неким вмешательством, вернулись на свои места в зале. Кто его знает, что чувствовал он, но она попала в полынью очарования: мир вдруг брызнул сочными красками, все обрело четкие, резкие контуры, как будто восстановилась утраченная в детстве острота зрения, кровь увеличила скорость своего движения до такой степени, что все внутренности запульсировали, забились из-под кожи с той силой жизни, которая долгие годы не давала о себе знать. Оркестр продолжал играть концерт, исполняли какую-то сонату Скарлатти, но для нее это уже не имело должного значения — чувствительность обострилась, а вот восприимчивость как будто наоборот — все органы чувств вдруг стали непроницаемыми для всего, что не связано с навязчивым всеобъемлющим образом, мелодия путалась в клубке мыслей героини, ничего к ним не добавляя. Ее охватили нетерпение и страх упустить какую-то важную возможность, хотя внутренний голос подсказывал, что этого не случится, что при всем своем желании ей не увернуться от фатальности последующих событий. И ведь знает она, что то, что с ней вскоре случится, ничто перед ее ожиданием и предвкушением, знает наперед о поджидающем разочаровании и опустошении, но это будет потом, сейчас же ей необходимо выжать нектар умопомрачения, дурмана, сладкого самообмана. Он сидел в нескольких метрах позади ее, а она рисовала его недостоверный портрет в своем воображении. Господи, что за бред: совершенно чужой человек, ничем не принявший участия в ее жизни, не поделившийся с ней ни одной тревоги, не выразивший симпатию, ни разу даже не оказавший услугу, ни с того ни с сего в ее глазах превратился в удобного, чуть ли не родного, необходимого! Они не проговорили и пяти минут, а ей уже грезится безраздельная власть над его помыслами, обладание всеми тайниками, всеми кратерами его души. Эгоистично? Безусловно, но не это главное: что за игры затеял тот, кто внушил ей эти ничтожные желания, кто посмел глумиться над ее волей? С чего еще пришла бы ей блажь куражиться над самой собой, поставив себя в зависимое положение от другого человека? Если бы только ей удалось вернуть самообладание, задавшись этими вопросами. Но физическая модель выглядела практически идеальной: характеристики ничтож-

ности удостаивалась лишь сила трения, которая не могла остановить начатого движения и одолеть инерцию.

Концерт кончился очень быстро, как будто его кто-то подгонял к завершению или скомкал отведенное ему время, как использованную салфетку. Как всегда заполненный зал, вмещающий до шестисот зрителей, отмер и зашевелился: все поднялись со своих мест, словно отжалась кем-то давеча придавленные клавиши. Толпа водным потоком хлынула изо всех отверстий-дверей и, сбегая по лестницам, устремилась к гардеробу. Озираясь по сторонам, ища глазами и не находя пока предмет своего интереса, наша героиня тоже очутилась в одной из очередей возле гардероба и тут же выхватила взглядом свою цель в соседней очереди метрах в трех от себя. Ничто в облике юноши не выдавало того же волнения, в котором пребывала героиня, и все же она знала: если он и не обуреваем той же страстью, что и она, он, по крайней мере, готов ей поддаваться. Вот их взгляды встретились, она одарила его глупой улыбкой, словно бы светящейся внутрь себя, дабы не обнаружить безмерности вызвавшего ее довольства. Дальше все развивалось по уготованному, предчувствованному сценарию, в котором описанию каждого чувства и мысли суждено быть либо до крайности банальным и напыщенным, либо наивным и смешным. Пойдем на эксперимент — утопим их в пучине безмолвия и будем наблюдать за бессмертными пугающими призраками.

С какой отчетливостью вспомнилось ей ее чувство, испытанное наутро после того, как накануне ею была обнажена душа перед чужим человеком. И ведь она это сделала добровольно, точно беря саму себя на слабо; ее никто не вынуждал, ее слушатель был симпатичен, приятен, она ему безосновательно доверяла и желала выдать свою тайну. Он внимательно слушал, не перебивал и не рассуждал о том, чего не понимает, не давал советов и не пытался сравнивать со своим жизненным опытом, свое сочувствие и сопереживание выражал весьма деликатно, если не сказать боязливо.

Чем сильнее она раскрывалась — а она не могла остановиться, словно катилась по наклонной и не за что было зацепиться, — перед этим случайным встречным, так называемым «другом», тем больше проникалась ощущением омерзения — к себе. Все было не то, все было не о том. Зачерпывала, зачерпывала, взбаламучивала водоем своей души, а ничего не доставала — только тина, водоросли, мусор. Неужели это все, что она собой представляет? Слова, эти предательские, ни на что не годные слова! О нет, они не были сухи и пространны, не были однобоки и плоски, они были как плоть, как самая настоящая плоть, они вылезали из ее сердца, души, разума, рта, обвивали шею, руки, грудь, живот, заслоняли глаза, заползли в нос, но не давали прекратить себя порождать. <...> И вот ты сидишь перед своим слушателем, продолжающим с непроницаемым лицом поглощать с аппетитом свою пасту, и извергаешь из себя блевотину чувств, воспоминаний, переживаний, упуская, между прочим, наиболее постыдные моменты, предлагая вниманию лишь самые изысканные узоры, и не можешь остановиться, не можешь остановиться, не можешь... Ты продолжаешь говорить, говорить, а в это время вспоминаешь себя пяти-шестилетним ребенком, в деревне, ясными солнечными днями предающимся странной одиночной забаве. У самого крыльца дома лежали два больших серых плоских камня, вдавленных в землю и сохраняющих ее сырой в любую погоду. Было что-то привлекательное, вызывающее любопытство в этих камнях, чем-то они манили. Она, в общем-то не озорной и не шаловливый ребенок, с необъяснимым предвкушением и необычайным желанием внимала безмолвному приглашению неодушевленных предметов, приближалась, садилась на корточки и маленькими чистыми пальчиками выковыривала эти серые тяжелые плиты, не боясь запачкаться и оцарапаться, несмотря на смутное осознание преступности своего деяния, схожего чем-то с раскопкой захоронений и отдающего мародерством,

непрерывно их переворачивала и, будто пронзенная электрической иглой, была вынуждена отпрянуть в приступе брезгливости. Почти всегда она натыкалась на кольчатых грязно-розовых червей, небольшая часть которых облепляла испод камней, другая же, превалирующая часть, извивалась в черной сырой земле; и те, и другие приходили в активное движение от неожиданного вторжения. Они бесстыдно вытягивали и сжимали свое мясистое скользкое и склизкое тело, утверждая неоспоримое право на существование. Ребенок сосредоточенно и напряженно, боясь моргнуть и спровоцировать что-то ужасное дыханием, неотрывно следил за обнаруженным откровением, с чувством гадливости, но с толикой удовлетворения — казалось, что природа открыла ей свою тайну, поделилась нелицеприятной стороной, как будто говорила, что и ей есть что скрывать: лучшее утешение, которое она могла предложить.

В наивных глазах на детском личике, сморщившемся от отвращения, вспыхивали гнев и решимость, доброе сердечко скрывалось в кокон жестокости, крохотные ручки, сжимающие каменную плиту, ободранные об ее острые края, возносились вверх, куда-то к небу, застывали на мгновение, как будто пытались обхватить облако или пронести молитву, и обрушивались с орудием на врага — слизняка. Не проходило и пары мгновений после того, как она узревала плоды своей решимости и отваги, а их уже сменяли изумление и обескураженность: противник был рассечен надвое, но продолжал шевелиться, из него не сочилась кровь и не вываливались внутренности, в издевку теперь уже два телесных рубка подавали признаки жизни. Столкнувшись с загадкой и не сумев ее разгадать, она не бросала попыток прийти к ожидаемому исходу и, словно безжалостный палач над своей жертвой, вновь и вновь заносила оружие над множасьими головами и хвостами. С каждым мнимым соприкосновением камня с небом тщетность ее усилий становилась все очевидней, и наконец девочка, смилив упрямство и подавив любопытство, бросала попытки размогнуть и растолочь противника. Оказывается, бывает и так, что уничтожение умножает, а умножение — унижает. Стремясь избавиться от созерцания своего поражения, но не от факта поражения, ребенок воздвигал камень на место, испачкав его своей кровью и наделив своим теплом. Как давно это было — как будто это было вчера.

И вот ее снова одолели те же черви. И одолели перед лицом какого-то незнакомца, которого она выбрала, чтобы излить душу. Наконец слова кончились. Собеседник (хотя в этот вечер его вернее было бы окрестить слушателем — роль скромнее, но, сдается нам, и сложнее) упледел весь свой заказ и распростился, не задавая лишних вопросов, не обещая сохранить все рассказанное, не благодаря за откровенность, но и не испытывая никаких неприятных ощущений в области живота или горла — он провел замечательно и занимательно время, воодушевился и насытился. Пожалуй, ему было интересно, пожалуй, он никому ничего не расскажет, пожалуй, ему приятно оказанное замкнутым человеком доверие. Да, его вечер удался.

Ах, как все начиналось... Деликатное, боязливое, с затаенным дыханием, с ощущением радости открытия, рука, вложенная в другую руку, ощущение человеческого тепла, совпадение температур — казалось: то не пальцы, а души на мгновение укрылись в объятиях друг друга. Не было стыдливости — для нее не нашлось причин. Не было слов — все было сказано без них. Не было чувств, не было надежды, не было трепета и ожиданий. Прекрасный, заверченный, потусторонний акт. Так должно было быть. Но какой-то нечаянный, непредвиденный завиток, сердечный зуд, душевная заусеница — пустяковые, в сущности, вещи, если их вовремя устранить и не расчесывать воображение, стали точкой приложения воли и желаний. Какая слабость, какая низость, какой стыд. Так было много лет назад, так было и сейчас.

* * *

Иначе, иначе все обстояло с нашим оставленным ненадолго героем. Заключение МРТ гласило о выявленной церебральной атрофии головного мозга. Изошренный приговор отнюдь не немедленного исполнения. И вовсе не приговор, так, констатация факта.

Как ни крути, в распоряжении Даниила оставались реальные или кажущиеся тело, жилье, работа, социальные обязательства и физиологические потребности, начальники и соседи, родственники и просто случайные люди, ветер, снег, солнце, законы физики. Ничто из этого не отпало, мир не изменился, сказать по правде, и он сам не очень изменился. Нет, ты не меняешься, не так-то просто перекроить себя за один вечер, придушить привычку рутины, оборвать все связи. Не говоря уже о том, что денег в твоём распоряжении не стало больше, работодатель не расщедрился на оплачиваемые дни, организм не перестал требовать еды, питья и крова, даже коммунальные платежи не самоуничтожились. Герою оставался все тот же серый жесткий ломоть дня из пресного, иногда не пропекшегося теста, жевать его было неприятно, не жевать — невозможно, так или иначе, его приходилось заглатывать. Караваев со взбитым кремом у судьбы для Даниила, похоже, заготовлено не было. Революции не случилось, ни внутри, ни снаружи. И все же что-то готовилось, что-то проклевывалось в сфере Данькиных влечений и вскоре поспело.

Ему захотелось сделать что-то такое, чего он раньше не делал, но что это такое, он себе не представлял. Сколько он ни примерялся, ни ошупывал свои желания, как некие болячки, все они рассасывались, стоило до них дотронуться. В такие моменты жизнь становится более благосклонной в некоторых отношениях и норовит дать, как отрезвляющие оплеухи, небольшие подсказки, употребляя к тому подручный материал.

Проклятая старушка, арендодатель его жилья, а по совместительству и ближайший сосед, отказывалась оставить Даниила в покое, она буквально вцепилась в его жизнь. Чудилось, что запахом этой не в меру деятельной дамы пропитана не только комната Даниила, но и его вещи — до книг (хозяйкино обозначение — «макулатура»), да и он сам, вплоть до мыслей. Да, раз уж мы упомянули книги, отметим мимоходом, что и старуха сумела-таки постичь их пользу: пока Даниил был на работе, захватила, что лежало на столе, да сунула в банную печь, не опровергнув, что «рукописи не горят», ибо текст был печатный, а не от руки, но весьма успешно обуглив одни и обратив в прах иные обложки и листы, которые Даниил некогда так бережно переворачивал. Книги погibli, слова и буквы слизнулись языками пламени, им нипочем были логарифмы, пределы, транспортные задачи, инвестиции, статистика и все прочее. После этого случая бабка вконец опостылела: она виделась бесхребетным ползающим по дому спрутом, запускающим сальные щупальца под диван, в стол, под стол, в шкаф, оставляющим везде после себя невидимую слизь; уж насколько она была противна Даньке и до этого, теперь в его глазах обратилась в мегеру, в мифическое порождение, которое более нельзя терпеть, которое нужно уничтожить.

Хозяйки было слишком много, хотя Даниил проводил дома лишь поздний вечер и ночь. «Опять гулял, неуч», «Не лей воду, мой быстрее руки!», «Ты что по ночам сидишь, свет зря жжешь!», «Вон соседка рассказывает, какой у них студент: учится, работает, с ремонтом помогает, надо — картошку сажает, надо — дрова колет, да все со смехом, с шуткой! А девушка у него какая! Не то что некоторые — сидит, как таракан в углу, двух слов не свяжет, что-то мямлит, кто ж на такого позарится!» И смо-

трет, смотрит искоса прищуренным взглядом, с презрением смотрит, одно что не содрогается. А Даниил молчит, зубы стискивает да молчит. Чего молчит-то, чего терпит, того и сам не объяснит — за комнату свою деньги вовремя отдает, не задерживал ни разу, за завтрак с ужином доплачивает, три четверти коммунальных платежей тоже за его счет, — так чего не предъявит домовладелице своих прав или и вовсе не съедет со своим нехитрым скарбом? Нехорошо ему было, неудобно, тревожно и гадко, но с этими проявлениями нехорошего он успел свыкнуться, от них не приходилось ожидать подвоха и изощренности, лупили они больно, но метили грубо, все в одно и то же место, с одним и тем же размахом. А знаете, это все же становится невыносимо, когда каждый день совершенно посторонний тебе человек, как розгами, сечет тебя словами, шпыняет безответного, глумится и помыкает тобой, презренным. Для психики это что-то сродни пытке каплей воды, стекающей на голову человека; тихая, мягкая, незаметная, раздражающая, она превращается в свинцовую пулю для черепной коробки. Раздражение имеет свойство накапливаться, а терпение, как и все прочее в жизни, лишено свойства бесконечности. Слов, достаточно было слов, чтобы забитость, страх и чувство неполноценности выкипели в гнев и ненависть. Старая неумная желчная бабка с противным скрипучим голосом, возмнившая себя хозяйкой, нет, не комнаты ее дома, а всей его жизни вместе с задворками. Внешне опрятная, она обычно ходила в брюках и кофтах с закатанными по локоть рукавами, обнажая темные грубые руки; стриженные седые волосы торчали жесткими кудрями; лицо всегда хранило на себе налет какой-то тупой бесчувственности. Несмотря на тщедушность фигуры, она не внушала Даниилу жалости. Всякий намек на жалость, сочувствие, участие убивала упертая, тупая, непобедимая самоуверенность этой женщины и плоды виртуозного, искусного владения ремеслом выворачивать любые слова, эмоции и ситуации в свою пользу. Одна фраза, брошенная на предложение ее сына позвать Даниила к столу по случаю какого-то праздника: «Да ты что! Он же пить не умеет, у него наследственность плохая», стала роковой для ее дальнейшего существования. Старушка перестала раздражать Даниила, его сознание обратилось на нее, сфокусировалось, выбрало ее своим объектом, поместило под микроскоп, как букашку, как микроб, как тлю, которую предстояло изучить и раздавить. Нет, Даниил не задавался вопросом, тварь ли он дрожащая, — знал, что тварь, но что с того? Совсем не обязательно быть Богом, чтобы истреблять. Созидание — вот забота, дело Бога, с которым и Он справляется из рук вон плохо. Данька не намерен стяжать себе такую славу, ему всего-то и надо было, что найти цель, к которой готова приложиться воля, достичь ее да расквитаться поскорее с жизнью.

* * *

Итак, он решил.

Первым делом Даниил собрал всю нужную информацию о своей хозяйке и ее сыне, смысла искать данные о ее супруге и других детях особо не было: муж, если он был жив, не показывался, а что насчет взрослых уже детей, так одного было более чем достаточно для свершения задуманного. Благодаря работе в распоряжении Даниила оказались сведения о девичьей фамилии его арендодательницы (выходило, что госпожа Татьяна Владимировна урожденная Вострикова), ее дате рождения, паспортные данные вплоть до места рождения (небольшой поселок в Удмуртской Республике), послужной список (кстати сказать, подтвердилось, что большую часть жизни она трудилась на железной дороге, в вагоноремонтной мастерской, и теперь ее образ был неразрывно связан с оранжевой безрукавкой), реестр недвижимого имущества (возможно, не-

которая информация утратила актуальность, но источники гласили, что за Татьяной Владимировной числятся, помимо дома, в котором она проживает, еще две квартиры (в городе), перечень всех прописанных в нем, номера домашнего и мобильного телефонов, данные о кредитах, задолженностях, исполнительных производствах, счетах и остатках по ним, штрафах и проч. и проч. Аналогичные справки Даниил навел и о сыне Татьяны Владимировны. Все это заняло у Даньки каких-то сорок-сорок пять минут — как раз обеденный перерыв, который он использовал не по назначению.

Да, легко проходят подготовительные мероприятия, быстро, играючи подвигаясь от зачина к кульминации, словно сел в санки, а там уже оно все само катится, само собою устраивается. Тут нет ни заклада, ни вшитой петли, ни топора. А ведь, вообще-то, вот эти самые приготовления, наведение справок, консолидация данных без письменного согласия на то самих лиц уже самое что ни на есть преступление, нарушение прав, злоупотребление служебным положением. Но надо сказать, на данном этапе наш герой вовсе не мучился угрызениями совести, не ощущал груз преступления на своей груди, не терзался сомнениями и не испытывал потребности в оправдательной теории. Да и в целом то, что он замышлял, представлялось ему лишь большой пакостью, шкодничеством без особо тяжелых последствий (в системе координат его моральных ценностей, конечно: о том, что на этот счет есть у закона, он был прекрасно осведомлен).

Все же нашлась парочка нюансов, над которыми Даниилу пришлось призадуматься. Весь его план мести сводился к тому, чтобы оформить несколько займов на имя своей хозяйки и ее сына, — вот для чего ему понадобились их паспортные данные.

Даниил уделил немного времени обзору рынка микрофинансовых организаций, ибо в них рассчитывал обойтись без оригиналов паспортов. Сначала он подумывал о том, чтобы попробовать оформить займы онлайн, но в таком случае ему пришлось бы указать данные своих счетов или, по крайней мере, электронного кошелька (да и остались бы следы в виде IP-адреса, только если не проделать операцию через интернет-кафе), что означало скорое разоблачение, либо завести реальные счета подставных заемщиков — это уже лишало возможности распорядиться деньгами, а они были бы совсем нелишними. Поэтому более разумным представлялось получить займы наличными, обратившись непосредственно в офисы кредиторов, при этом из предосторожности (видеонаблюдение никто не отменял) он решил предварительно изменить свою внешность какими-нибудь усами, затемненными очками, а по возможности — гримом, потому стал посещать соответствующие магазины, а еще небольшой камерный театр, не вполне, правда, отдавая себе отчет, что он из него может вынести. Кончилось тем, что походы в театр ему принесли мало практической пользы для задуманного дела, но зато спектакли, ставившиеся в нем, и некоторые актеры весьма впечатлили Даньку, так что он, насколько была к тому способна и расположена его натура, пристрастился к драматическому искусству, не ко всему, а именно к такому, какое демонстрировалось здесь, в маленькой комнатухе, стены которой были оклеены черными обоями, потолок и подпиравшие его две колонны, разместившиеся прямо на сцене, как вечно немые второстепенные персонажи, обиты черной материей, а пол... непонятно чем устланный пол просто был темен, как разверзшаяся под ногами бездна.

Дело, задуманное дело, не требуя больших моральных усилий, исполнялось, устраивалось потихоньку, как бы само собою. Никакой маскарад не пригодился, разве что пара театральные приемы позаимствовалась непроизвольно, от пристального внимания и изучения повадок полюбившихся актеров: Даниил обошелся медицинской маской да темными очками, не слишком привлекающими внимание своим размером, темно-серая шапка и бесформенная куртка, непримечательные джинсы и ботинки за-

вершили образ. Было решено предпринять две-три вылазки в кредитные учреждения, расположенные в разных районах. Первая организация, на которую пал выбор Даниила, находилась рядом с большим городским рынком. Тесный, задрипаный райончик, хотя и всего в двадцати минутах от центра города, изобиловал микрофинансовыми организациями (раньше Данька сторонился их, испытывая какой-то суеверный страх вперемишку с брезгливостью), был утыкан небольшими киосками, пестревшими вывесками: «Быстрые деньги!», « Деньги мигом», «Займ до зарплаты» и т. п. Никаких залогов и поручителей, никаких справок о доходах и звонков на работу — все легко и просто, так, чтобы мышеловка могла быстро захлопнуться. В первый раз все проходит максимально гладко, без единого сучка, чтобы у клиента не возникло сомнений насчет того, чтобы вернуться в это место, не исключено, что и присоветовать его кому из знакомых. На то Даниил и держал расчет, предусматривая целых три точки для своих набегов. Вторая и третья размещались в еще более злых районах: одна за железнодорожным вокзалом (надо заметить, что, отправляясь туда, Даниил рисковал вернуться ни с чем даже в случае успеха своего предприятия — проще простого его могли обворовать прежде, чем он успеет покинуть задворки вокзала, но это не заставило отказаться от затеи — напротив, такая возможность пощекотать себе нервы представляется нечасто), другая — в противоположной стороне города, вокруг автовокзала (этот район считался вполне уважаемым, активно застраиваемым, развитым и обжитым, кишущим дорогами магазинами, ресторанами, клиниками, наполненными благополучными горожанами; тем контрастнее здесь выделялись приезжие из ближайшего зарубежья, то и дело прибывающие, снующие в поисках работы или легкого заработка; конечно, среди них были самые разные люди, были просто несчастные, добродушные и мирные, но терлись меж ними и опасные субъекты, по меньшей мере помышлявшие о воровстве ради пропитания; и все же в светлое время суток здесь мелькала лишь тень опасности). Провидение, рок или еще какая сила сберегли Даниила от долгих размышлений и кропотливых приготовлений к нетривиальному делу, обошелся он без теорий и догм. Вообще, он чувствовал прилив сил и бодрости; зажатость, комки в теле как-то размялись и разошлись, и ум, вечно спутанный, узловатый, как старые снасти, из которых невозможно достать улов, даже если он случится, вдруг расправился и заозирался по сторонам. Ни стуканья сердца, ни головокружения, ни спертости дыхания, ни дрожи, ни даже вспотевших ладоней или затуманенной действительности. В общем, все прошло как по маслу, как в крутом фильме. И действительно, Даниилу казалось, что он всего лишь зритель в кинозале, настолько легко все воплотилось: он ничего не почувствовал, не испугался, не ощутил и дыхания угрозы. Данька обзавелся деньгами, небольшой суммой, чуть больше двух сотен тысяч рублей, но — что немаловажно — под высокий процент, который, по его задумке, не с него должны взыскивать.

Болезнь заочно амнистировала его совесть. Вот что, должно быть, чувствуют распорядители чужих судеб, — думалось Даниилу. Он, как паук, как неумолимый рок, сплел вокруг своей жертвы невидимую сеть, и ему нет нужды созерцать истязания жертвы или самому принимать в них участие, нет, ему достаточно того, что нарисует его воображение, когда он скроется с глаз долой от своей — нет, уже чужой — жертвы. Да, это низко, подло, мелочно, если хотите — по-канцелярски. Но вот в этой низменности и мелочности и было самое удовольствие, доза была как раз та самая, чтобы пропитаться ею целиком, но при этом не пресытиться, не подавиться, не отравиться и не измучиться тошнотой. Ты вроде и посягнул на человеческую жизнь, да не на всю же, а все же на распутье ее вывел, как будто в зачаток, эмбрион вторгся да одним выдохом изменил его структуру. Нет, не рубанул топором, не ударил обухом, а впил-

ся иголкой, комариным хоботком вонзился, в самый нерв неприметного доселе зуба угодил. Теперь-де поизвиваются, теперь помечутся, до чужих жизней дела меньше будет. Ну, примерно с месяц, а всего вернее, еще с три пройдет, конечно, а за это время Даньки и след простынет. А дальше судебные приставы, хотя... какие еще судебные приставы! — у этих микрофинансовых организаций есть вышибалы, зачем им обращаться к закону: дорого и волокита одна.

Лишь теперь на ум пришла странная мысль: а может, искупление следует прежде вины? Время действительно не линейно. Немудрено, если то, что принимаешь за время, есть лишь его проекция, отражение. Жизни нет дела до того, где мы себя ощущаем — в ее заправке или в хвосте, в одном с ней смотрим направлении или наперекор движению смотрим уходящему вослед, горько сожалея о неиспробованном и непрочувствованном. Для любого из нас когда-то наступает спячивающаяся, сжимающаяся, узловая жизнь, тычущая нас в испод нашей души и тем же нас отрезвляющая и умиряющая.

* * *

Все одно к одному, все рассчитано, все подгадано: через неделю Даниилу в командировку, через неделю он окажется в поезде и еще чуть погодя — в деревне, в доме у незнакомца, пути их сплетутся в стальной узел. И вот теперь он стоит посреди комнаты напротив своей проекции, или... он сам и есть эта проекция? Эта страшная догадка ошеломила, сковала льдом и покрыла инеем ясности его расхлябанное, разъезженное, как проселочная дорога, сознание. Пока всего на несколько мгновений, но что-то уже схватилось.

Разве можно в это поверить: в расколотое сознание, в Двойника, в Соглядатая? Отчего нет? Стороннему наблюдателю, врачу, читателю под силу обозреть подобный казус, заурядный случай помешательства, объять, так сказать, его целиком и даже сделать предметом своего изучения. Но тут другое — тут сам помешанный уличает себя в помешательстве, сам ведет следствие и выносит приговор. Все вышло так смешно и нелепо: отчего же? А вот хотя бы оттого, что он не умел поверить в себя, в свою боль, в свою серьезность и непустяковость, он не мог себя пожалеть: для всего этого нужен другой, отодранный от себя, выдуманный, призрачный — кто угодно, но как будто бы противоположный, но главное — ложный. Разве вас не посещало желание узнать, как бы в ваших обстоятельствах повел себя другой человек, разве не раздрало любопытство увидеть себя со стороны и понять, какие эмоции и чувства вы пробуждаете в других? Вот и Даниилу захотелось выскочить из самого себя, заместить, подменить себя кем-то другим, кто бы за него принял весь спектр воздействий, которые его почти перевели на ту сторону отчаяния. К сожалению, его история не столь захватывающая, как история Билли Миллигана или Хайда и Джекилла, расщепиться так просто его сознание не могло и не хотело; для того чтобы сойти с ума, Даниилу пришлось прибегнуть к нехитрому средству — ко лжи. Но не к пустой лжи, а к плодотворной, той, которая могла бы стать фундаментом и опорой мировоззрению. Такая ложь вытесняет и замещает. Своя жизнь, не то полинявшая, не то выцветшая без времени, его не особо прельщала, и все же его что-то удерживало от бездумного, легкого, разнузданного распоряжения ею. Сложность заключалась в том, что главным объектом лжи должен был выступить он сам.

Глупости, все глупости! Глупости, горячка, виляние и позерство! Не было того Даниила, который бы сошел с ума, не было того Даниила, который сумел бы отблатьнуть плотью собственную фантазию, не было и бесплотной девушки, которая начала бы

искать себе Творца из костей и крови. Все эти фантазии, витиеватые узоры, кружева мысли — мишура для прикрытия наготы и беспомощности логики, прямой, как спице, ей надо в чем-нибудь запутаться, во что-нибудь закутаться, где-нибудь найти свою петлю. Отринь Данька всю эту метафизику, что ему останется, кроме горечи и сомнения? Горстка заплесневевших воспоминаний и одно недодавленное, как червяк, желание — вернуться к отцу, которого не видел без малого пять лет. Это желание — ключ к разгадке, камень, брошенный в воду, все остальное — разошедшиеся на ней круги. Это желание, поработив волю Даниила, искало варианты своего воплощения. Деньги? Власть? Всеобщее признание и уважение? Ничто из этого не составляло внутренней потребности Даниила, каждое из них — безвекторный луч, сублимация одного стремления, одной просьбы, мольбы, требования — внимания, любви, признания одного человека — своего отца. Прошло столько лет с разрыва матери с отцом, но Данька так и не смог за это простить — нет, не отца, — а мать, за то, что она бросила больного родного человека, оставила того, кого оставлять не следовало ни в каком случае. А еще из детства он вынес то чувство вины, о природе, причине которого он забыл; если быть точнее, он запомнил о главной его части, о сердцевине, ибо на него радужками наслоилося множество других побочных вин. В числе вмененных: предательство по отношению к отцу, выразившееся в том, что, несмотря на свое презрение к матери, он все же смалодушничал, тоже оставил его одного, лучше всех представляя, к чему это приведет. Какой-нибудь взрослый, узнав, сколько было тогда лет Даньке, уверенно и сокрушенно бы отметил, что тут и говорить не о чем — какая могла быть свобода выбора у столь юного мальчика: он поступил так, как и полагалось ему в его летах — последовал за своей матерью. Но Даниил твердо знал, что выбор был: выбор был и тогда, выбор есть и сейчас. Но и вина была, есть и будет, и она не какой-то там фантом.

Ни с чем не сравнимо то чувство облегчения и полноты, цельности одновременно, которое переживал Даниил, когда его отец наконец останавливался, в очередной раз выпрастываясь из полыни своей страсти и выходил на работу (о, этот первый день — все равно что день судный: вознесет в рай или повергнет в ад), а после нее, отработав полную смену, возвращался домой в полном изнеможении! Даниил знал это болезненное, страдальческое выражение, которым проступало на лице приходящее в себя сознание; апатия, уныние, удрученность нападали на едва протрезвевшую жертву, измотанную ломкой и возбужденным раздражением. А раздражение, кстати, никуда не делось — одной искры достало бы — и доставало — воспаленным нервам. Но окрыленный Даниил ничего этого не замечал — не хотел замечать, он радовался наставшему непрочному миру в их доме, это было его счастье, на другое ему не приходилось рассчитывать, поэтому он упивался им, как мог. Он лез к отцу с шахматами, с картами, с книжками и не замечал — не хотел замечать, — насколько он в тягость, насколько он назойлив, насколько требователен, но он и не мог иначе: уже на следующий день он начнет сомневаться, уже на следующий день он начнет ждать очередного срыва, очередной схватки, уже на следующий день он будет смотреть на отца с недоверием.

Чувство вины не имеет свойства проходить, постепенно оно заполняется и уплотняется — то, что было беспричинной тревогой, в конце концов находит свое содержание. В конце концов в Данииле народился страшный, подавленный монстр — желание пережить вновь боль, ощутить себя униженным, растоптанным, преданным и — восставшим и отчаянно борющимся — всемогущим. К спокойствию, размеренности, некоей определенности больше не тянулись ни душа, ни разум. Никакая радость не могла сравниться с тем, что дарило страдание, за ним следовало отчаяние. Отчая-

ние — предвестник, предтеча возрождения, но иногда это отчаяние таково, что никакого возрождения и не хочется.

Эта девочка — та, кого он хотел подставить под удар вместо себя, та, чьими чувствами можно поступиться, дабы уберечь собственные: пусть кто-то другой будет для его отца досадной помехой в его ломке. Даниил больше не мог сносить своего существования, он готов был сдаться, но и сдаться не мог: не мог же он вырвать сердце из собственной груди. Если бы отец ему только помог — если бы ударил, всего один разок: может, надорвалось, треснуло бы чувство, прохудилась бы, истлела нить привязанности?.. Но ничего подобного. Ненависть, жалость, отвращение, злоба, ярость — все это было, но не было освобождения. Война с невидимым врагом приобретала абсурдные формы, эти формы сами по себе ломали психику, держали на грани помешательства: руки и ноги, связанные простынями, взломанные замки, опустошенные кошельки и вынесенная и проданная техника, слезки, преследования, поиски, поиски, поиски, бесконечно сдавливаемые слезы и неисчерпаемое тинистое, трясинистое отчаяние. Отчаяние, как бы велико оно ни было, все же измеримая сущность, в системе координат души — поверхность, так пусть оно будет черный раскаленный шар с площадью $4\pi R^2$ (ибо кто кому запретит мнить отчаяние поверхностью?). Наверное, логичнее, а следовательно, легче было бы представить вместо шара бутылку Клейна, не так ли? Проклятый Клейн... должно быть, где-то есть и проклятый Вагнер. И скажите на милость, на кой нам вычислять площадь, если свойства тела от этого не изменятся, если другой стороны нет? Но этого не может быть! Ведь, в конце концов, поверхность способна расслоиться, и неважно, что этого пока не произошло. «Не произошло», «не случилось», «не вызрело» — чем это отличается от «прошло», «завершилось», «сгинуло»? И то, и другое — нуль. Подступайся слева или справа, рассчитывай предел при стремлении к плюсу нулю или минусу нулю, это всего лишь нуль. Это точка бифуркации, невозврата, и лежит она на поверхности отчаяния, отчаяния, у которого лишь одна сторона, независимо от того, внутри ты или снаружи бутылки, независимо от того, Клейн ты или Вагнер. Ты вылушен, в тебе больше нет содержания, единственное, что тебе остается, — самому стать содержанием. Но ты уже был содержанием — ты был содержанием своего Творца, Бога, пока не убил его. И вот Он мертв, и у тебя никого нет, и тебя ни у кого нет... И ты — ты решил сымитировать Бога и зачал свое творение — самого себя, но с Богом — с собой. Попытка замазать брешь, заполнить лауну, спаять себя с каким-нибудь миром... Попытка сбежать от самого себя. Мы нуждаемся лишь в идее Бога, самого Бога нельзя вынести. Существование Бога — ограничение нашей свободы. Бог должен был уничтожить себя во имя нашей свободы. Господство равного себе принять проще, чем господство совершеннейшего из существ. Чтобы поверить в чудо, Бог необязателен: нужен другой. Он необходим для подтверждения того, что то, что видят глаза, не есть плод воображения. Но как убедиться в том, что кивающий нам другой, — не выдуман?

* * *

Та же комната в том же доме. Даниил, девушка и ее отец. Или — его отец? Впервые Данька недоумевает: почему его никто не замечает? Ведь он есть, он всамделишный, он режиссер и постановщик, так почему же он невидим? Он прилагал неимоверные усилия к тому, чтобы прятаться и скрываться, мимикрировал и стирал следы своего существования, так неужели он в своем тщании дошел до того, что забился в складку небытия, чтобы быть замещенным по своей воле кем-то другим, бесплотным и безжизненным?

Два родных друг другу человека терзают, мучают друг друга, каждый невольно усматривает в человеке перед собой помеху, каждый, во власти непреодолимой зависимости, в сердцах желает другому смерти и ужасается своего желания, даже под алкогольной анестезией. Противостояние, исход которого уже предreshен. Бедная, бедная девушка с бледным лицом, окропленным молчаливыми слезами, и мертвенным взглядом, вобравшим в себя всю пустоту и горечь своей вселенной, вселенной Даниила, тебе уготована новая попытка — ее придумал для тебя Даниил.

* * *

Героиня в бессилии сидела в кресле, с каким-то отупением уставившись в окно напротив, позади сидящего на диване отца. На подоконнике вокруг цветочного пластмассового горшка от обильного полива образовалась небольшая лужица, вокруг (да должно быть, и в ней самой) копошилась мошкара, а в уголке с отколупившейся краевой, обнажившем деревянную прослойку, болталась тоненькая паутинка. В общем-то, девочка не должна была этого видеть — это видел Даниил.

Не прошло и пары часов, а хозяин уже ерзал, выказывал нетерпение и неумность, борьбу с нарастающим раздражением. Несколько раз он вставал с дивана и принимался ходить по дому, вновь садился на диван или на пол, но не выдерживал и пяти минут и снова начинал метаться. Совершаемое над собой усилие скривило ему рот, мутный взгляд воспаленных глаз, белки которых пронизаны тонкой сосудистой сеточкой, напоминающей треснувшую скорлупу, блуждал, не зная, на чем остановиться, чтобы отвлечься мыслями от искомого предмета. Он пробовал пить воду, рассол квашеной капусты, но это была не та вожденная влага, которая могла притупить жажду и желание. Девочке подумалось, что, должно быть, отец испытывает то состояние, про которое он не раз говаривал: в груди все жжет. Видимо, встреча с дочерью все-таки произвела впечатление, ибо он, хоть и сильно сомневаясь в самом себе, пытался себя сдерживать, растворить нарастающий в горле комок, от которого с легкостью на время могло бы избавить содержимое прозрачной початой бутылки, стоящей под столом. Внутреннее истязание каждого продолжалось: дочь в напряжении ждала исхода — сколько бы он ни оттягивался, отец неминуемо должен был сорваться; она это чувствовала, а Даниил осмысливал. В конце концов выигравших не будет.

Хозяин попробовал снова прилечь, но не мог успокоиться, а все ворочался и ворочался, не умея найти себе место, уgomонить нутро, громко и протяжно вздыхал, хватался за сердце. Дочь не сводила с него глаз; ей было страшно — скоро кульминация, она это знала; скоро весь ее мир полетит в тартарары.

Все-таки усталость и напряжение ненадолго взяли верх: одержимый перестал вертеться с боку на бок и притих. Дочери отвели несколько минут передышки. Сердце ее, несмотря на то что она часы подряд сидела практически неподвижно, бешено колотилось, тело, каждый кусочек которого пронизало напряжение, тонкой пленкой покрывала холодная, неприятная испарина; кровь пульсировала, вздувая голубые жилки на висках. Вокруг ничего не менялось, лишь откинутые от сознания во внешний мир мосты словно начали подниматься и отгораживаться ото всего: точно лишаящийся света цветок подбирал свои лепестки и закрывался в плотный, непроницаемый бутон. За окном висела тишина, в доме признаки жизни подавали лишь часы, как будто костяшками старых счетов с прищелкиванием отмеряющие время. Казалось, что все перестало дышать. Дочь перестала различать звуки дыхания отца, поднялась с места и подошла к нему поближе; убедившись, что грудь лежащего мерно вздымается и опускается, успокоенная, она вернулась в кресло — свой наблюдательный пункт.

Опасаясь произвести хоть какое-то воздействие на подвижные слои реальности, закипающей, как магма, в жерле вулкана, она сидела неподвижно, стараясь обуздать даже мысли, сыплющиеся бусинами с порвавшейся низки.

Вдруг точно пружина слетела с петель: хозяин резко вскочил и сел на кровати, обратив на дочь пылающий взгляд, говорящий — нет, вопиющий о том, что он решил. Хозяин быстрым движением откинул скатерть и нырнул под стол, схватил заветную бутылку, откупорил ее и поднес было уже ко рту; но вот что-то дернулось в сторону, как тронувшийся с места состав: сознание Даньки вскользяло в тело ее отца — в тело *его* отца.

Вновь мерный ход колес, на этот раз под мелодию «Death is the road to awe»: куда-то катится груженная сеном старая, разбитая телега, навстречу ей катятся рулоны сена, катятся и катятся, не останавливаются, но и не настигают телеги. Вот Данька сам, зажмурившись в ожидании неизбежного столкновения, обратился в волчок, в юлу; вот его крутят и крутят вокруг оси, он словно вода, стекающая в отверстие и все никак не могущая вытечь до конца. А вот Даниил мчится в поезде, а поезд игрушечный, и железная дорога — лишь небольшой замкнутый круг. А кто же играет? Мальчик лет пяти, очаровательный малыш с вьющимися каштановыми волосами, прикрывающими прижатые к головке аккуратные ушки, с темно-зелеными большими глазами, опущенными длинными черными ресницами, с полными румяными щечками, с маленьким носом и поджатыми губами; весь такой складный, пышущий здоровьем, чистый, спокойный, располагающий к себе. Он знает, что его любят и будут любить, баловать, заботиться. Каждый одарит его вниманием и приветливостью, каждый почтет за честь услужить ему и вызвать улыбку на его лице. Слова мальчика будут литься соловьиной трелью, ласкающей слух; речь, опирающаяся на четкие, логичные и последовательные мысли, будет убедительна и желанна. Каждый встречный проявит свою благосклонность и примет участие в успехе этого избранного ребенка. Кто же он? Полная противоположность Даньке, друг, которому он завидовал все свое детство, брат или просто еще один герой еще одной выдуманной истории? Нет, это же Данька, все тот же Данька! Это благополучный, довольный, рассудительный Данька, который играет перед самим собой — незадачливым, запутавшимся, бесцельным, расколотым и отчаявшимся. Данька продолжает смотреть на Даньку, не отрываясь и кружась, буравит взглядом и окольцовывает свою тень, покуда весь тяжелый металлический состав не влетает в темный тоннель, и сознание не оглушает перестук колес. Кромешная темнота перемежается ярко вспыхивающими проблесками маленьких лампочек, отражающихся и множащихся в вагонных стеклах — не разберешь, где отражаемое, а где отражающееся. Вагон раскачивается, бросает из стороны в сторону, он дрожит, не в себе, испытывает приступы эпилептических припадков; раздираемый яростью и бешенством, он все набирает и набирает обороты, словно норовит на полном ходу вылететь из колеи. Даниилу не страшно, ему хорошо оттого, что от него не требуется больше усилий на борьбу, не нужно двигаться, думать, все несется само собою со спущенными поводьями в неизвестность, куда-то навстречу тому, к чему стремился наш герой всю свою жизнь. В блаженном предчувствии приближающегося достижения желанной цели он прикрыл веки, а открыв, вновь очутился в доме.

* * *

Интересно, что происходит с героем, которого автор зачал, вывел в жизнь, сначала в потустороннюю, а потом допустил и в свою собственную, а после, не то заскучав,

не то приревновав, бросил на произвол судьбы? Можно ли говорить о судьбе, если с героем больше ничего не случается, он замер, ждет продолжения, а его подвешивают в пустоте и, строго говоря, отрицают даже его право дышать? Что он должен чувствовать? Не «должен», а чувствует, да и чувствует ли, когда его, недорисованного, недовыведенного, но уже обозначенного, предают забвению? Имеет ли этот герой возможность в перерыве своего создателя, в прерванном творческом процессе, заполучить свою волю и начать скрытую самостоятельную жизнь не по сценарию (а может, уже начал, может, уже наблюдает, подглядывает?)? И пусть автор думает, что ему больше нечего выражать, пусть потерял он средства к самовыражению, перепробовав бунт, смирение, поклонение красоте и безобразию, пусть он смотрится в зеркало и не видит отражения, потому что больше нечему отражаться, на самом деле отражение, уловив миг притупившейся бдительности, вырвалось из плоскости и сбежало.

Даниил не знал, куда делись хозяин с дочерью, не искал ни ответа на этот вопрос, ни их самих. Это была задача: матрица три на три, определитель равен нулю, все миноры равны нулю. Тогда Даниил наконец понял, что есть одно-единственное желание, которое он может сам исполнить для придуманной дочери своего отца.

Внезапно Даниил физически ощутил удар под дых: уж не он ли сам, ослабившись, смотрел на самого себя и выталкивал из вагона поезда?

* * *

«Приступим к решению системы линейных уравнений методом исключения. Как бы я ни старался вынуть из своей матрицы тягучую субстанцию из чувств, упований и разочарований, какой бы из иксов ни зачеркивал, под каким бы ни подразумевал Тебя, выходило лишь одно: я оказывался не тем, из кого возможно вычитать, я был тем, кого следует вычесть. Мысленно я это уже не раз проделывал, а однажды у меня это почти получилось в реальности, но вышла осечка: я запутался, выжил и, вместо того чтобы добить свое прошлое, взялся его воскрешать. Я не нашел лучшего скальпеля для препарирования души, чем слова. Да, вновь и вновь я буду апеллировать к ним, к словам, — когда-нибудь они должны надо мной сжалиться. Но моя душа, извилистая, бескостная, сыграла со мной злую шутку — она оказалась так же живуча, как тот червь, которого делило в детстве камнем хрупкое создание с бледным, фосфорного оттенка, вытянутым лицом, тонкой шеей и тонкими же руками, сосредоточенное, напряженное и готовое растрескаться в любое мгновение.

Никогда не понимал, как абстракция соотносится с реальностью, а теперь понял: абстракция — это производная реальности, если интегрировать абстракцию, то получится реальность, ответ на вопрос: где бы я был, если бы меня не было.

Вот она — моя „лужа“. Лужа, Лужин, Клейн и тот, кто всему положит конец, — Вагнер. Лужа, в которой отчего-то растекается бензиновое пятно — от самых моих ног (только непонятно, кто и что на них смотрит: я или не я, глаза мои или прозревшая челюсть). В небо втиснута та же лужа, она окаймлена зелеными ершиками: вывернутый наизнанку еж. Амальгама, застигнутая врасплох коррозией, помутневший рыбий глаз.

Я вступаю в свою лужу, я — луч, падающий на преломляющую поверхность, я — луч света, я — луч тьмы. Синус угла падения между падающим лучом — мною и нормалью (тут чувствуется мне горлышко клейновской бутылки, не пересекающей таки ее стенок) относится к синусу угла преломления между преломленным лучом — ею и нормалью, как скорость света в первой среде к скорости света во второй среде. Свет —

это явление, связанное с топологией. Свет — это вмятина многомерного пространства. Начинаем интерферировать.

Интерференция наблюдается только в том случае, если световые лучи одного источника отражением ли, преломлением ли были „раздвоены“, а затем снова сведены.

Господи, как долго, как мучительно! Словно на операционном столе ждешь, когда отключат сознание. Включите музыку, я жду анестезию! Ну вот же она, вот! — сердцевина граммофонной пластинки — вовсе не луна! Ах, эти маленькие, тоненькие канавки, срез ствола могучего древа жизни — круги, круги, дорожки, в выемках которых скользит и спотыкается игла моего сознания! Узнаю плеск моей идеальной лужи! Мелодия, чудесная мелодия — я ее раньше слышал, узнаю — „Эйфория“ Айдары Гайнуллина. То мерно раскатывающиеся, собирающиеся в складки и разглаживающиеся, как атлас, умиротворяющие и спокойные; то вдруг нарастающие в валуны, грозные, схлестывающиеся, набегающие одна на другую, гасящие одна другую; то низвергающиеся, то закручивающиеся в водоворот, а иногда и вовсе прорывающие плотину объемные, многослойные гофрированные звуки, в которых плещется, плещется жизнь.

Вдруг в мой орган зрения вставили — так, как офтальмолог вставляет одну за другой линзы в ужасно не изящную громоздкую оправу, пытаюсь подобрать ту самую, которая подойдет лучше всего, — картинку, вынутую из памяти. Надо сказать, что изображение какое-то скудное и полинявшее, остается рассчитывать лишь на мягкую, нераспушившуюся художественную кисть фантазии: я сидел в филармонии и слушал двенадцатую сонату Бетховена — это противоречивое, лоскутное, мощное, раскатистое, воинственное произведение, и все же содержащее предвозвещение следующей сонаты — нежной, переливчатой, мерцающей, истончающейся и тающей, как леденец во рту (о, луна!), — „Лунной“. Я слушал с закрытыми глазами, стараясь вобрать музыку (какое-то каменное, сухое слово, мне бы хотелось назвать то, что звучало, чем-то вроде трансцендентных волн); временами получалось, временами тело посещала вожденная невесомость, его содержимое как будто освобождалось от границ, прорывалось горящей магмой, не ведающей ни боли, ни страданий, ни сомнений... Звуки плавилась, осыпались росой, испарялись, отвердевали и в какой-то момент, кристаллизовавшись, являли, как откровение, новую, недоступную доселе грань — тень четвертого, пятого ли, а может, десятого измерения, я не был способен ее принять, она не проходила в узкое горнило моего сознания, утыкалась и оцарапывала острым краем — и в следующий миг все осыпалось и исчезало, чаще всего досрочно, не по своей прихоти: вот кто-то коснулся локтем одной из моих прижатых к туловищу рук (извечное напряжение и добросовестно работающий кондиционер вынуждали меня заключить себя в крепкие объятия), вот скрипнуло одно из узких кресел, спаянных в ряд, вот кто-то зашелся кашлем... тьфу! а у кого-то даже зазвонил телефон. Проклятые шероховатости, помехи, сила трения, которой невозможно пренебречь! Невольно я открываю глаза и озираюсь: ба (это не мое „ба“, какое-то книжное, я решил глянуть со стороны, как буду смотреться с этим „ба“, к лицу ли: ничего, сносно), да прямо передо мной сидит Генрих! Нет, не может быть, просто затылок, должно быть, напоминает его, но сам он сидит где угодно, например, в тюрьме, где ему и его поделникам и место, но не со мной в одном зале филармонии, нет его здесь! Вторая часть Тринадцатой сонаты близится к концу, голова сидящего впереди меня человека поворачивается ко мне — Генрих, это он, вероятность ошибиться нулевая. Тихо, возможно, одними губами — но я слышу — он произносит: „Это тебя здесь нет, это ты сидишь в тюрьме за мошенничество“. Что за бред, какое мошенничество, тогда я еще ничего не сделал, да и сейчас — меня никто не тревожил, не допрашивал, не арестовывал! Я не мог сидеть за-

ранее за то, чего еще не совершил!.. В свои права вступает третья часть двадцать шестого опуса. Кто-то проводит сечение через плоскость моего бытия. Генрих смеется мне в лицо.

Знаете, я ведь чуть вас всех не перехитрил, а вы даже и не заметили. Но то не ваша вина, это не было в вашей власти, да и не я использовал уловку, а она меня, теперь вот пытаюсь высвободиться из нечаянно расставленных силков, как будто бабочка, в повернутом вспять времени вообразившая себя энтомологом. Бабочка со сложенными крыльями, тонкая линия — шов в пространстве, непараллельная плоскость моего бытия. Говорят, по крыльям бабочки можно определить все стороны света. Есть такая бабочка, ее зовут Арлекин. А еще, говорят, был Арлекин, всамделишный, человекоподобный, со скелетом, начиненный мышцами и кровью, как полагается, ладный, удачливый, известный, один лишь имел недостаток: путался порой в пространстве — то сердце справа забьется, то вспять пойдет, то вчерашний день за завтрашний примет. И вот этот Арлекин решил себя увековечить и взялся да осилил о себе роман. Памятуя о старой заповеди „Не умирает в книге тот, кто от себя рассказ ведет“, Арлекин вел речь от первого лица. Но роман не стал бестселлером, и Арлекин спустя годы умер. Умру и я, но она — моя тень, моя выдумка — она выживет.

Все путается и мечется во мне, в остатках меня, обгладываемых, словно пираньями, горячкой и бредом. Яркими маслянистыми и объемными вспыхивают образы воспоминаний, страхов и плодов воображения. Все забивается в теснину сознания, грозит хлынуть единым всеразрушающим потоком. Вот я снова пятилетним мальчиком лежу в своей постели с температурой, в жару, наведшими резкость на мое сознание, оборвавшими его подсвеченные края, как кромку сжигаемой пергаментной бумаги, и вижу прямо перед собой на потолке странного человека с длинными, по плечи, седыми волосами (сейчас я сравнил бы их с шевелюрой Баха), с морщинистым лицом и выпуклыми глазами, взглядом пронзающими меня насквозь, с густыми белыми бровями, сросшимися на переносице, усугубляющими выражение злости, если не сказать зла, которое источала и вся фигура — фигура крепкого статного мужчины, обтянутая черной кожаной рубашкой, черными же кожаными штанами, поверх всего этого у него за плечами виднелся черный плащ. Я смотрел на этого не то человека, не то мифическое существо наполненным ужасом взглядом и со спертым дыханием, и боялся отвести глаза — кто знает, где непрошенный гость может оказаться в следующую секунду, я обязан был проследить, чтобы нависшая угроза довольствовалась мной, чтобы она не переместилась к родителям. Исполненный трепета, напряжения, я прокараулил своего врага до самого рассвета. С утренними лучами нечисть растаяла, и потолок вновь обрел свой привычный, ничем не примечательный вид, но долго еще после я боялся ночи, долго грезил о том, чтобы долгие темные ночи сменились длинными полярными, не обернутыми в траурные ленты.

Дважды — это всегда безобразно, дважды — это всегда плагиат. Плагиат — это видеть себя жалким, растоптанным, униженным. Это я — пятилетний ребенок у окна. Ночь. Свет горит лишь в прихожей. Тяжелая штора отодвинута в сторону, я подлез под сетчатый тюль и уставился в окно. В окне — еще одна комната, и еще комната в комнате, продолжение комнаты в гиперпространстве, и еще один я. Я смотрю на себя и перестаю чувствовать себя, душа моя как будто оказалась по ту сторону окна. Есть конечная, но небольшая вероятность того, что я нахожусь за окном. Внести больше определенности может вычисление с помощью волнового уравнения Шредингера. Что до меня самого, то я терплю фиаско в его решении, пытаюсь собрать его составляющие. Я разделился, как червяк. Снова червяк, вездесущий червяк! Так я научился делиться, когда боль становилась невыносимой».